

10.335/

1992/2

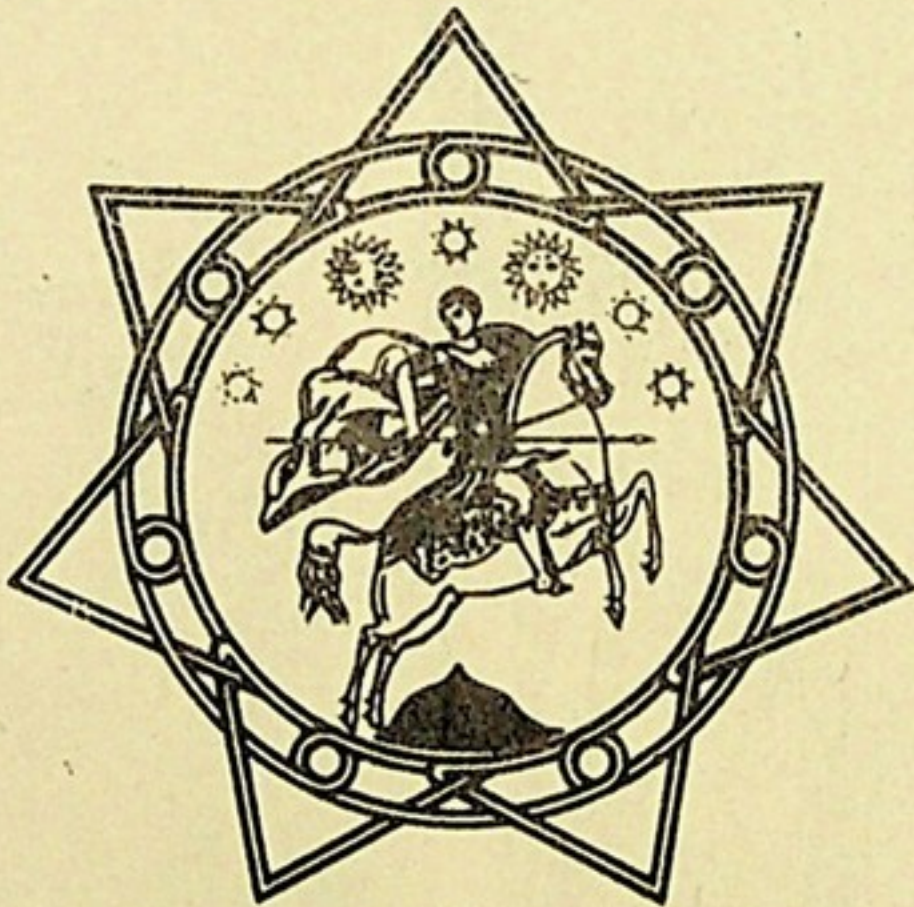
ISSN 0130-3000



8

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1992



6



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1992

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Рассказы. Перевод
Вахтанга Буачидзе 3

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

АРЧИЛ II. Нравы Грузии. Стихи. Перевод
Георгия Ашкинадзе 61

ТАМАЗ БИБИЛУРИ. Для семи голосов и жа-
воронка. Роман. Перевод Э. Елигула-
швили 63

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ГУРАМ ХАРАИДЗЕ. Автобус Сизмары. Ска-
зка. ДОДО ЗУРАБИШВИЛИ. Быль. Пе-
реводы Виктории Зининой 106

6

КАМИЛЛА КОРИНТЭЛИ. Стихи	121
БАТУ ДАНЭЛИА. Стихи. Переводы Юрия Юрченко и Татьяны Муллер	126
ВЛАДИМИР СИХАРУЛИДЗЕ. Рассказы. Пе- реводы Динары Кондахсазовой и В. Робакидзе	129
ЛАРИСА СТРУЧКОВА-ЧАХЕЛИДЗЕ. Стихи	193

ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Храни нас, Боже, от таких «охранителей»!	194
---	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ДЖАНРИ КАШИА. Приглашение в Чон Таш	204
АКАКИЙ ХИНТИБИДЗЕ. В маске и без нее	208
ТАМАР ШАРАБИДЗЕ. Раскаяние Апшины	213

Рассказы

ЦАБЛА И НУГЕША

1

Прамона!..

— Зовет вроде кто-то.

— Неужто у наших ворот?

— Не слышала, что ли? Встань-ка, выгляни!

— Это мне-то среди ночи чужих мужиков выглядывать?

— И кого еще там в такую пору нелегкая принесла?

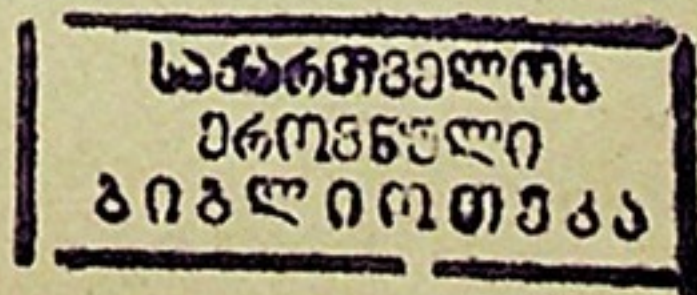
Прамона свесил ноги с кровати и впотьмах потянулся к переброшенным через спинку стула галифе.

— Прамона!.. — уже куда громче, с требовательной сердитостью вновь окликнули со двора.

— Председатель! — уверенно сказала Цабу, встала, собрала в пучок рассыпавшиеся волосы и, вслепую нашарив косынку, мигом повязала голову. Муж еще и одну ногу не успел продеть в штанину, как Цабу уже затеплила в углу комнаты каганец.

У Прамоны недобрый предчувствием стиснуло сердце, ему было легче умереть, чем в этот неурочный час выходить наружу и затевать беседу с невесть откуда взявшимся председателем. Тревожные мысли не отпускали, но, устыдившись жены, он — скорее для отвода глаз — спросил:

— Чего засуетилась, ты, что ли, глянешь?..



142.824

— Не по путному делу он пришел! Молчи, вроде как тебя дома нет, а я разузнаю!..

Не дожидаясь согласия мужа, Цабу отодвинула засов, распахнула двери, переступила порог и подняла вверх мерцавший каганец:

— Эй, кто там?

— Самсо я, Самсо! Никак уши вам всем заложило? Прамона спит?

— Уй, Самсо, — воскликнула женщина, уклонившись от прямого ответа, но обмануть председателя все же не решилась. — Пришел он недавно. Поужинал и лег только что. Поутру ему вставать рано. Амбако должен заявиться. Так как, разбудить?

— Эге, женщина, да у тебя с умом нелады! Конечно, разбуди, тоже мне Мухран-Батони нашелся.

— Сию минуту, Самсо, погоди маленько!

Прамона отчетливо слышал каждое слово, однако, когда Цабу вернулась назад, он, уже перехватив штаны тесемчатой опояской, в стоптанных чувяках на босу ногу, встретил ее у дверей вопрошающим шепотом:

— Ну, что там?..

— Худо наше дело, Прамона! Не зря, ох, не зря он пожаловал!..

— Чего ему надо? — процедил сквозь зубы Прамона, пытаясь скрыть от жены внезапно охватившую его робость.

— Тебя хочет видеть.

— Это я и сам слышал, не глухой! Сказала бы, что меня дома нет... внизу соседу помогает... не поднялся еще!..

Осерчав на жену за ее промашку, но пуще всего озабоченный поздним визитом председателя, он вышел во двор и засеменял к воротам. В темноте светились три или четыре красные точки. Прамона принял было их за светлячков, но сразу догадался, что это там, за плетнем, в проулке, мужчины дымят папиросами. «Смотри-ка, с целой ватагой заявился, — подумал Прамона и ускорил шаг. — Что за дело ко мне у этого полуночника? Уж не забрать ли меня собрались, не ровен час!..»

— Эй, ты это там, Прамона? — издали окликнул Самсо, услышав шум приближавшихся шагов.

— Я, кто же еще! Чего за километр кричишь, заходи во двор! Вечер добрый!.. Хотя какой уже сейчас вечер...

— Ты этот «добрый вечер» для себя прибереги, пригодится, а мне лучше ответь-ка по-хорошему: пасткам твоим паскудным придет когда-нибудь конец или нет?

— Кому ты это говоришь, Самсо, может, я ослышался?

— Кому, кому... Не деду же моему Петре!..

— Вон оно как!.. Ну тогда о паскудстве моем ты у тех спроси, кого с собой приволок. Обо мне да с моей породе, кроме тебя, в Наманеви слова дурного никто не скажет, и если ты хоть чуток меня жалуешь... — Прамона сделал паузу, но пауза эта была красноречивей любых слов.

— Не будет тебе, скажем, моего уважения!.. Ну и что же ты мне сделаешь?..

— А то, что обидчику спуску не дам! Я тоже человек, хоть и без чина... Не всем же в председателях да бригадирах ходить!

— Советую тебе попридержаться язык, Прамона Дарахвелидзе! Не тебе меня на испуг брать! Признавайся: в Велеви у Свимонки Мацаберидзе в хлеву чьи бычки на привязи стоят?

Прамона ждал и более всего страшился именно этого вопроса. Бравада тотчас же куда-то улетучилась, а на лицо легла тень угрюмой растерянности. Надо было спасать положение. Прамона предпочел обходной маневр:

— В Велеви? В чьем хлеву? Ни про какого Свимонку Мацаберидзе я не слыхивал. Кто знает, того и спрашивай.

— Тебе, сударь мой, и про бычков ничего неизвестно?

— Нет! На кой шут сдался мне Свимонка Мацаберидзе с его скотиной! Свою живность я в собственном хлеву держу. В чужом ей нечего делать!

— Вы только взгляните на него: врет и не краснеет! Да за такую брехню, за обман начальственного лица тебя в тюрьме впору сгноить!

— И сгноишь, коль правды на белом свете нет!

— Не заводи меня, Прамона, — не то шваркну тебя оземь и, клянусь честью, только уши наружу торчать будут. Ты кому, сукин сын, очки втираешь... мне, Самсо Бичашвили?! В преисподнюю тебе провалиться! Или, думаешь, я не знаю, что ты с Мацаберидзе кумовством повязан! Сына у него крестил, а теперь умишком своим куцым провести меня хочешь: ничего, мол, ни про него, ни про быков этих постылых не ведаю!..

— Ну, если и так даже, пусть он кум мой, ты-то чего кипяتيشься?! Или нельзя уже добром услужить человеку, сына ему покрестить?

— Ты, может, по слабости своей умственной думаешь, что советская власть только в Наманеви, а в Велеви меньшевики правят? Или когда бычков перегонял, на слепоту людскую рассчитывал: авось не увидят, не спросят, чья скотинка-то у чужих яслей привязана?! Ты что же, сучья душа, впервые слышишь, что крестьянину, члену хозяйства, колхознику, стало быть, больше одной коровы с одним же приплодом иметь не положено?! Сколько раз об этом на общем собрании объявляли, сколько раз подписываться заставляли! Или ты не расписывался?

— Расписывался, — кротко ответил Прамона, понимая, что попал впросак и теперь вовсе не стоит осложнять дело еще больше.

— И что с того? — Самсо угрожающе повысил голос. — Где же ты таких бычков вырастил, — каждый, почитай, пудов на двадцать пять потянет?! Кто дал на это право? Хочешь, чтобы меня из партии поперли, ославили на весь уезд? Почему ты их в колхоз не привел или на мясозаготовку не сдал?

— Не решился, Самсо... Клянусь детишками своими, всеми четырьмя... Жалко стало красавцев таких под нож пускать. У свата прятал, да и там пронюхали. Вот я и вспомнил тогда про Свимонку. Сначала они в какую, но потом согласился, упросил я его так... Знал, правда, что и это ненадежное место, но выбирать не приходилось. Прости, Самсо, небом заклинаю! При всем честном народе на коленях тебя прошу! Уж больно бычки эти дороги мне. Что в хлев общий их загнать, что в могилу сойти — для меня все едино!.. А ты детишек моих пощади, не бери грех на

душу... Вырастут они еще, службу тебе добрую сослужат!

— Так что же, властям для тебя новый закон издавать? А, скажи, особый закон тебе нужен?

— Ну, а как же мне быть?

— Пока я людей не кликнул, возьми веревку, накинь быкам на рога да перегони обратно.

— Что потом?

— А что должно быть? Ты часом не с луны свалился?

— Нет уж, пусть они лучше там остаются!

— Закон обойти хочешь?

— Закон... Закон как дышло — куда повернул, туда и вышло!.. Все в твоих руках!

— Пора мне ехать, а ты не дури, Прамона! Не принуждай еще раз к тебе подниматься... Страх не люблю по кочкам прыгать! А какой я в гневе — сам знаешь!

Не дожидаясь ответа помрачневшего Прамона, Самсо взял под уздцы застоявшегося жеребца, сунул ногу в стремя и легко взлетел в седло.

— Ну чего ему, окаянному?.. — затеребила Цабу мужа, когда тот переступил порог, присел на край кровати и задумчиво опустил голову. — В чем там нас обвиняют?..

Прамона тяжело вздохнул, рассеянным, каким-то чужим взглядом обвел затемненную комнату и снова уронил голову на грудь.

— Или ты язык проглотил? — раздраженно спросила Цабу.

— Бычков наших выследили, — коротко бросил Прамона и чуть погодя так же отрывисто добавил:

— Заложил какой-то негодяй.

— Ой, отвернулся от нас Всевышний! — вскрикнула Цабу и ударила себя ладонями по коленям. — Как быть теперь, откуда помощи ждать?

— Сам о том думаю!

— Детишек жалко... Сама-то я уже ко всему готова. Говорила же тебе, умоляла: давай от скотины избавимся, в колхоз этот распроклятый сдадим, как тех трехлеток сдали... Не отстанут они от нас, не да-

дут живность держать!.. Но тебе же хоть кол на голове теши — не веришь добрым советам!..

— Да, виноват я, со всех сторон виноват.

— Ладно, теперь-то что делать будем?

— Будь что будет, но по своей воле я им быков не отдам. Ребятишки ничего не слышали?

— Да нет вроде, спят они.

— Им ни гу-гу!

— А ты куда засобирался?

— Схожу-ка в Велеви.

— В такую-то пору, среди ночи?

— Пока дойду — рассветет!

— Чего это тебе вдруг приспичило на ночь глядя?

— Человека из-за меня потревожить могут... И зачем я только животину мою несчастную туда перенал?!

— Дурного чего не учини, Прамона, детьми тебя заклинаю... О них подумай, как бы беду не накликать! Негоже с начальством тягаться, сам знаешь, да и не у нас одних лихо такое!

— Ты бы мчади да сыру кусок в сумку сунула...

— Прамона, детьми заклинаю!

В соседней комнате, за перегородкой глухо скрипнула кровать, и через мгновение в проеме отворившейся двери показалась взъерошенная голова старшего сына.

— Шиуна, сынок? — отец и мать попытались слабо улыбнуться.

— Почему не спите?

— Ты-то чего подхватился? Гость у нас был, сынок, только что проводили, — с лаской в голосе ответила Цабу. — Рано пока. Петухов даже не слышно. Ложись. До рассвета с полдюжины снов еще увидишь.

— Знаю, что за гость к вам наведывался.

— Ой, никак разбудили тебя, сынок?

— Цаблу и Нугешу никому в обиду не дам... Пусть меня хоть на части рвут!

— Неужто ты, от горшка два вершка, с начальством таким спорить станешь? С потрошками съедят! Нет, сынок, не пересилить нам их, разве что в немилость попадем... Убереги Бог! Иди ложись, поспи



маленько, да смотри, малышей не разбуди ненароком! А мы с твоим отцом что-нибудь придумаем.

— С бычками если что стрясется — из дому сбе-
гу!

— Слышишь, отец, что он говорит?

— Слышу, — Прамона перебросил через плечо сумку с харчами, нашел в сенях сучковатую палку, стукнул ею пару раз оземь, как бы проверяя на прочность, и тронулся в путь. Шел он быстро, почти без передышки, и даже когда накатила тяжелая усталость, лишь только стиснул зубы, но шага не замедлил. Жиденский рассвет застал Прамону в Велеви. Кум тоже уже был на ногах.

— Эй, Прамона, ты?

— Не перепугал я тебя в такую рань?

— Это точно, ранехонько ты встаешь!

— С первыми петухами к тебе поспешил. Дело у меня, Свимонка... Не знаю, простишь ли ты мне?.. Вот и Цабу извиниться велела!.. Без подарка я к своему крестнику заявился... Да ладно, в другой раз вдвойне отдарю, лишь бы Господь поспособствовал!..

— Э, да какого хрена, ты, мил человек, в извинениях рассыпаешься, жив же я еще пока! Сосед у меня востроглазый, любитель язык почесать, он и настучал в сельсовете, другому больше некому. Вше-стером нагрянули, откуда только набралось столько? Я-то, конечно, в отказ: какие быки? Приснились вам, что ли? Только разве их проведешь?! Вывели меня, хлев открыли, а там и дурню понятно, что к чему: стоят, крутолобые, глазами сверкают в темноте, потом как ринутся, чуть всех с ног не посбивали... Тебе-то кто так быстро сообщил? Я человека сегодня собирался послать...

— Председатель, пропади он пропадом, ночью с постели поднял.

— Что ты решил?

— А ты что посоветуешь?

— Закону поперек не становись! Время нынче смутное. Не ради красного словца говорю, сам видишь: что человечья жизнь, что собачья — обеим одна цена! Сдай-ка ты лучше животных своих, если хочешь отвязаться от этой сволоты!

— Не могу я этого сделать, Свимонка.

— В сумке-то ничего не подпортится? Сними, вон там пристрой, а то я гляжу, что ты уже назад поворачиваешься, будто и не у меня в гостях.

— Извинись перед кумой. Растревожил тут вас всех... Нужен кому такой крестный?!

— Так уходишь все же?

— Поспешу, покуда совсем не рассвело. Не ровен час, увидит меня какой злыдень — хлопот новых не оберешься!

— Перекусил бы малость, не годится голодным тебя отпускать.

— Не привыкать нам, Свимонка, к доброму застолью. Будем живы — не раз еще пир устроим!

Хозяин не настаивал на своем приглашении, поскольку видел, что Прамона действительно торопится, к тому же, сказать по правде, Свимонке во избежание новых неприятностей хотелось как можно скорее отделаться от этих злосчастных быков.

Сначала Прамона отправился по проселочной дороге, которая вела к разбросанному на южных отлогих предгорьях Тлуги, потом у лесной опушки он свернул вбок и вскоре очутился на сенокосном лугу. Поверх стерни уже кустилась свежая трава, густо обсыпанная прозрачными, жемчужными каплями утренней росы, и откормленные, широкогрудые бычки, хоть и подгоняемые длинным хозяйским прутом, все же ухитрялись то там, то здесь урвать лакомые зеленые пучочки.

— Цабла, Нугеша, да вы что, совесть совсем потеряли? — ласково выговаривал Прамона животным, аппетитно похрустывавшим травой. — Ну и жор на вас напал! Неужто у Свимонки плохо кормились или стервятник в брюхе поселился? Стыд да и только! Нам бы от этих мест поскорее убраться, а в горах такого добра для вас предостаточно... Вот мне чем кормиться? Шиуна-то про вас, знаете, что сказал? Если, говорит, Цаблу и Нугешу пальцем кто-либо тронет — из дому уйду... Да, так прямо и заявил! Но вы не бойтесь, хозяин в беде не оставит. Пусть только попробуют взглянуть на вас косо — со мной будут дело иметь! Живого места на подлецах не оставлю, надолго меня запомнят! Не умыкал я вас и силой не отбирал ни у кого! Вместе с Цаблу, как детей малых,

растил, души не чаял! Цабла, Нугеша!.. Куда же вы, бесстыжие, бредете, неслухи этакие... Вот я вас сейчас хворостиной!..

Прамона сунул легкую сумку под мышку, торопливо подбежал к непослушным бычкам и незлобивыми окриками повернул их к лесу, чтобы там, уже самому изрядно проголодавшемуся, перекусить у овражного родника.

2

К полудню мальчики вернулись из школы и сразу же спросили, где отец. Цабу молчала, словно набрав в рот воды. Что могло случиться? Почему Прамона запаздывал? Только бы не наткнулся на него председатель со своей сворой приспешников да не отобрал бы скотину.

По природе своей мягкий, задумчивый, немногословный Прамона в то же время был вспыльчиво самолюбив, колкостей в свой адрес не терпел, за обиду спрашивал по полному счету. «Будь какая заварушка — прознали бы мы уже... И потом как-никак к куму в гости отправился, разве так запросто, в один момент его отпустят!..» — утешивали Цабу сердобольные соседки. Такое предположение выглядело весьма здравым, и она успокоилась. Правда, ненадолго. Стоило зайти солнцу, сгуститься сумеркам, как Цабу, все больше покрываясь лихорадочным румянцем и напрасно пытаюсь сдержать учащенный перестук в левой части груди, стала вглядываться в темноту за воротами.

Мальчики отказались от ужина и легли в постель. Сама Цабу, не раздеваясь, прилегла на тахту, смежила веки и затаила дыхание, готовая тотчас же подскочить при первых признаках возвращения мужа.

Ожиданию, казалось, не будет конца, когда за воротами вдруг кто-то громко крикнул: — Прамона! Цабу подхватила, подбежала к двери и, пытаюсь унять бешеный стук сердца, отодвинула засов:

— Кто там, батоно?

— Это я, Гервасий!..

У калитки стоял сельский уполномоченный Гер-

васий, хромой на обе ноги еще с первой мировой войны.

— В чем дело, Гервасий, никак дурную весть принес? — нутром чуя недоброе, спросила Цабу.

— Прамоне в сельсовет велели явиться. Так и сказали: в любое время, мол, пусть пожалует! Вот предписание. Распишись в получении.

— Я-то распишусь, Гервасий, да вот только Прамоны дома нет... Как быть?

— А где же он?

— В Велеви вчера с утра пошел.

— За каким лихом?

— Скотину там у людей держал... пригнать наказали... Давно уже вернуться надо бы, а его до сих пор нет. Извелась я вся!..

— Давай сюда, посвети мне чем-нибудь.

Вместо того, чтобы позвать соседа в дом, Цабу засуетилась, сняла с полки плошку с лампадным маслом, зажгла фитилек и поспешила к воротам, где ее поджидал кособоко опирающийся на одну ногу сельский уполномоченный.

— На, вот предписание, — сказал Гервасий и, припадая на обе ноги, с мелкоисписанным бланком и химическим карандашом в руках подался вперед. — Вот здесь распишись разборчиво, а я посвечу тем временем.

Цабу прикусила губу и расписалась в указанном месте. После этой процедуры Гервасий вернул ей плошку, разорвал бланк пополам, одну половину отдал женщине, а другую сунул в перекинутую через плечо кожаную сумку. Затем он огляделся по сторонам и, убедившись в отсутствии каких-либо случайных свидетелей, тихо произнес:

— Семье вашей, Цабу, я только добра желаю, потому как свекру твоему покойному многим обязан. Не могу иначе, пойми меня правильно. А теперь слушай: если Прамона где-то дома прячется, по-отцовски прошу, пусть объявится да со мной пойдет. Дело того требует, ему же лучше будет...

— Боже мой, батоно Гервасий, чего же ему от людей в подпол прятаться? Ведь не вор, не разбойник с большой дороги! — вполголоса запричитала вконец обескураженная Цабу. — Как только придет,



ни минутки передохнуть не дам, тотчас же к вам отправлю... Лишь бы появился скорей!..

— Ну ладно, тебе виднее! О том, что я сказал — никому ни слова!

— Да как можно, батоно Гервасий!

Перед тем как уйти, уполномоченный попросил у Цабу платок, чтобы освещать дорогу, пообещав наутро с кем-нибудь ее вернуть. Женщина сразу же протянула платок через забор: бери, свети себе под ноги и даже не помышляй о возврате, — у нас еще найдется...

После ухода Гервасия Цабу даже не прилегла на кровать; так и провела всю ночь на ногах, не смыкая глаз и отгоняя прочь мрачные мысли. Прамона не появился и на следующий день. Цабу ходила сама не своя, нервно теребила волосы, покусывала губы, но из боязни расстроить малышей виду не подавала.

— Как ты думаешь, почему папа так запаздывает? — спросил Цабу старший сын Шиуна, когда они остались одни.

— Ох, уж я сама не знаю, что думать!

— Схожу-ка я в Велеви, выясню, что и как!

— Нет, одного я тебя не пущу!

— А я на пару с приятелем.

— Нет, я сказала!

— Тогда пошли вместе!

— Подождем еще один день.

— За один день всякое может случиться.

— Сердце не проведешь, а оно твердит мне: жив, жив Прамона! Господи Всемогущий, Исцелительница Мария, Святой Георгий, не останьтесь глухими к моим мольбам!

Ближе к полуночи во дворе снова раздались голоса. На сей раз пожаловал бригадир Амбако с двумя депутатами из сельсовета, жившими на окраине села.

— Куда это муженек твой запропастился, не видать нигде?

— Кто, Прамона?

— А кто же еще... Или, может, ты себе другого уже завела?

— И не совестно вам, Амбако батоно, за такие



слова... «другого завела»... Соседи мы, дом к дому живем, не пристало нам язвить друг другу!

— Соседи... дом к дому... Прамона где, спрашиваю? Почему на работу носа не кажет? Мне, что ли, вместо него за волами ходить? Мне перед начальством ответ держать?

— О, Господи Праведный, чем я тебя прогневила? И ты, Амбако, не веришь, что хозяина дома нет?!

— Раз его нет, ты в сельсовет собирайся!

— А я на кой бес им нужна, и что мне этим нехристям отвечать, в толк не возьму!

— Не рассуждай много! Нам, кстати сказать, вслед за твоим муженьком вовсе не хочется отправляться!

Цабу стало как-то не по себе. Она вдруг вспомнила про харчи, которые уложила в сумку Прамоне, и почувствовала дрожь во всем теле. Да полно, есть ли основания для недобрых предчувствий?! Неужели за какую-то пару молодых быков?! А как же мы? Что будет с детьми? Кто их на ноги поставит? А может, его уже в живых нет, просто молчат пока!

— Сейчас, Амбако, сейчас соберусь, коль уж крайность такая. Только вот детишек не на кого оставить... Кто их поутру разбудит?! А ты про Прамону ничего не слышал? Христа ради, скажи, не трави душу!..

— Ну и ну!.. Мы за этим к тебе заявили, а ты у меня спрашиваешь?

Цабу накинула полушалок, поручила Шиуне приглядывать за хозяйством, вышла за ворота и вместе с мужчинами растворилась в ночной темноте. Шиуне не хотелось отпускать мать с незнакомыми пришельцами, и он совсем уже было увязался следом, но потом, поразмыслив, решил остаться дома.

Цабу вернулась глубокой ночью. Назад она шла ближним путем, в темноте наткнулась на ежевичные заросли, с трудом продралась сквозь них и запыхавшаяся, изнемогшая, едва переступив порог дома, попросила у Шиуны воды. Он принес полный кувшин, и она выпила все до последней капли. Несмотря на поздний час, младшие сыновья тоже не спали. Одежды, словно перед дальней дорогой, они нетерпеливо поджидали мать.

— Какие новости, мама? — спросил Шиуна и рукой легонько отстранил мальчуганов, с напряженным вниманием заглядывавших матери в глаза. Не поймали его?

— Ищут, сынок, нигде найти не могут. Затерялся, как иголка в стог сена. Двадцать четыре часа дали. За сутки эти, говорят, доставьте живого или мертвого... И с бычков чтобы шерстинки не упало, не то по закону все ответите!...

— Но мы же не прячем его!

— Расшибитесь, дескать, но найдите, а нет — так всех пятерых в сельком приволокем... Ни еды, ни питья не дадим, пока сами не признаетесь!

— Ты как думаешь, где нам его искать?

— К Свимонке Мацаберидзе надо сходить, в Велеви, куда же еще!.. Ему наверняка что-нибудь да известно. Прямо сейчас и тронемся... Пресвятая Дева, убереги нас от сглаза!.. А вы, детвора, пока суд да дело, у бабушки Улумпы побудете, объясните ей что к чему... Слышите?

— Слышим, — с тихой покорностью ответили воробьями нахохлившиеся малыши.

— Да смотрите, не докучайте ей, у нее без вас хлопот достаточно! Мы с Шиуной до вечера, думаю, обернемся!

Покончив с наставлениями, Цабу набросила на голову нарядный платок и вышла за ворота. Через пару минут следом за ней из дому выбежал Шиуна. Долго, почти до самого рассвета мать и сын шли рука об руку, не проронив ни слова.

— Есть хочется, — невольно вырвалось у Цабу, когда они уже минули Никорцминду и по узкой аробной дороге спустились в Шаорскую низину. — Забыла я мчади прихватить, хоть бы ты напомнил!

— И я забыл. Долго еще идти, мама?

— Пока и четверти пути не прошли.

— Только бы не зря мучились!

— Не приведи Господь!

— Мужчина вон идет какой-то... и собака рядом.

— Мужчина? Какой мужчина? Не кум ли? Вот так удача будет!

По дороге шел пожилой мужчина, постукивая по земле палкой. Можно было подумать, что у него не-

ладно с глазами. Голову путника покрывала старая войлочная шапка. Щеки поросли рыжей, давно не видевшей бритвы щетиной.

— Здравствуйте, дядя! — Цабу поздоровалась первой и заслонила ладонью от лучей красного солнца, только что выкатившегося из-за лесистых горных склонов. — Ну, песий хвост, пошел вон! Вы, случаем, не из Тлуги будете?

— Доброго здоровья и Божьего благоденствия вам! — путник снял войлочную шапку, обнажив потный, веснушчатый лоб с прилипшими к нему седыми волосами. — Собаки не бойтесь. Женщин и детишек она не трогает. Нет, не из Тлуги я... Из Схартали... Здесь рядом. А вас что-то не пригадываю. Не местные вы, верно?

— Да, из Наманеви... Прамона Дарахвелидзе... Слыхали? Рядом с церковью дом.

— Прамона... Сын Сепе? Как же, как же... Прамона... А вы, стало быть, его семейство? Вон мальчишка какой вымахал! А ты-то еще молодая совсем. Скажи-ка, а Сепе как, жив?

— Нет, батоно, третий год пошел уже...

— Светлая ему память, хороший был человек! Что правда, то правда. А вас сюда каким ветром занесло?

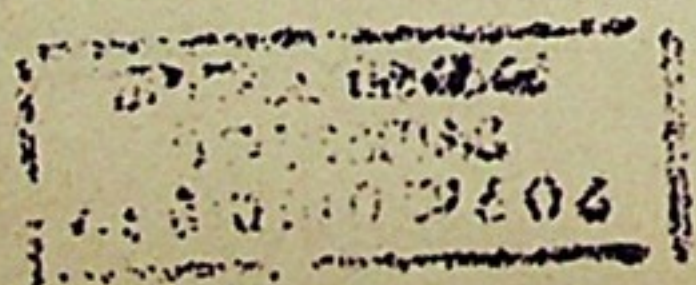
— Прамону ищем, — всхлипнула Цабу, тщетно пытаясь сдержать слезы.

— Эге! — удивленно вскинул брови путник. — Чего ради живого человека-то искать?

— В Велеви отправился к куму. Скотина там у него на постое была... И вот уже третий день как в воду канул.

— К куму, говоришь, отправился? Тогда вы зря всполошились. Встретить гостя да ублажить — не минутное дело. Тут без продолжения не обойтись.

— Ой, не до того нам. Утром он должен был непременно вернуться. Какой-то копеечник продал нас в селькоме: у них, мол, бычки на стороне имеются. Отнекивались мы, был грех, что скрывать!.. Да только ничего из отказа этого не вышло. В тюрьме сгноить грозятся. Велели в двадцать четыре часа хозяина нашего разыскать живого или мертвого. Все-то ладно, да детей малых жалко!..



— Я бы пошел с вами, но толку с того!... — глуховато промямлил мужик, явно испуганный сбивчивым рассказом Цабу. Наживать неприятности вовсе не хотелось, и посему разговор с женщиной сразу же потерял для него всякий интерес.

— Ну что ты, дядя, мы и не просим об этом. Ты нам только дорогу покажи, будь милостив!

— Пока идите прямо. Потом минуете мостик и упретесь в кромку леса. Ее и держитесь, а там за холмом и Велеви покажется. Счастливого пути!

3

Где-то около полудня мать и сын наконец-то добрались до Велеви и, порасспросив, нашли дом кума. У старинных ворот их встретила высокая, сухощавая женщина. Подбородок у нее был подвязан пестрым домотканым платком. Цабу видела жену Свимонки Мацаберидзе всего лишь однажды, когда Прамона крестил ее последыша в никорцминдской церкви и, как водится в таких случаях, дал мальчику свое имя.

— Ой, накажи меня Бог, не узнала я вас, представляете?! — через распахнутую калитку кума впустила гостей во двор, поблескивавший зеленой травой.

— Мы за делом серьезным пришли, не в гости, — сразу же выпалила Цабу, не смущаясь тем незавидным впечатлением, какое она, возможно, произвела на хозяйку дома. — Нам бы со Свимонкой лично поговорить.

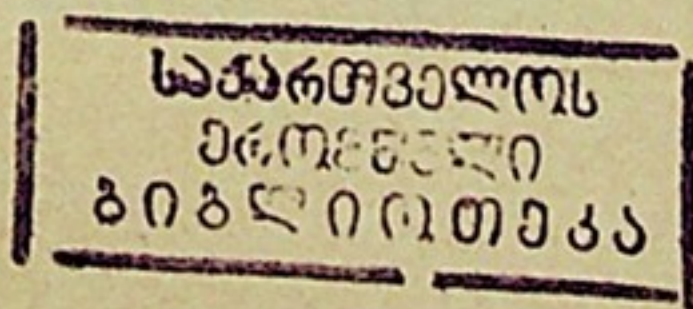
— А в чем дело?

У Цабу ком подкатил к горлу, в уголках глаз стали собираться слезы:

— В прошлый четверг Прамоны моего у вас не было?

— Как же, перед самым рассветом пожаловал. Я тотчас огонь развела, тесто замесила, хотела для мужиков хачапури испечь, да куда там... Глядь за дверь, а их уже и след простыл... Мой только к полудню возвратился, пот с него градом лил.

— И что он сказал? Прамона, он-то куда подевался?



— Пока я жив, сказал, быков этих никому в обиду не дам. Растил их, дескать, в тепле и сытости, а теперь на произвол судьбы оставлять по чьей-то прихоти?.. Не бывать тому!

— А Свимонка, Свимонка что ответил?

— Ну что, не хвалить же ему было Прамону! Он сам себе хозяин, вывел и погнал быков по дороге. Э нет, не годится такое упрямство... Нынче за чепуху любую в кулаки записывают, по черному списку проводят и фьют, на высылку... Люди друг в друге изверились, ни Бога, ни черта не признают! Одного навета достаточно. Заходите, заходите, здесь хоть солнце не так палит!

— Свимонка дома?

— С утра на жнивье позвали.

— Неужто хлеб у вас поспел?

— Хлеб рано, ячмень косим. Я сама только что с гумна... Повезло вам, не то на замок могли наткнуться. В селе и спросить некого, все в поле. Моя детвора тоже там, отцу помогают колоски собирать. А я вот пришла обед состряпать да им в поле отнести, помощникам моим дорогим! А ты как решила?

— Ну, что будем делать, сынок? Сходим на жнивье или обождем?

— А если стемнеет, тогда как?

— Ну вот, нашли о чем тужить! На улице, уж точно, не останетесь! Кумовья мы друг другу, в конце-то концов, или кто?! — с притворным удивлением зачастила хозяйка, потому как приход гостей в столь неурочный час все же не вызвал у нее особой радости. Но как бы там ни было, она заперла ворота на засов и повела явно смущенных гостей в глубь двора. — Переночуете здесь, а утречком, чуть свет, пойдете своей дорогой. На жнивье, по-моему, не стоит появляться. Все село сейчас там, народ-то разный... Увидят вас, судить-рядить начнут, язык ведь без костей!

— Боже праведный! Ну и натворил дел горемыка мой неприкаянный, всех с толку сбил, вас вот разбеспокоил понапрасну!...

— Эх, кума, ничего не попишешь, время ныне такое — никому не в радость!

Женщины по-быстрому спроворили для Свимон-

ки обед. На дне большой плетеной корзины в дружном соседстве разместились нежные горячие мчади, две головки молодого сыра, зелень, лобио в горшочке, завернутый в листья тыквы творог, и кувшин с вином, слегка разбавленным водой. Хозяйка дома совсем уже было собралась нести эту снедь в поле своему благоверному, как неожиданно на пороге появился он сам.

— Господи помилуй меня, грешную, — хлопнула себя по щеке кума, заведя у дверей растерянного, встревоженного мужа. — Свимонка!

— Достань-ка поживее новые чувяки... И носки прихвати!

— Зачем они тебе вдруг понадобились? Что стряслось?..

— Ох, ни дна ни крышишки этому Прамоне Дархвелидзе!

— Тише ты, — женщина приложила палец к губам, — жена его здесь вместе с мальчиком, услышат еще. Да что за неладица такая! Раньше ты Прамону лихим словом не поминал!

— Милиция его разыскивает. Найдут — расправы не миновать. Люди аж из района приехали... Науськал кто-то, иначе как бы они ко мне в поле нагрянули?!

— Чего им надо, погнал же он этих своих... быков, — куме, видно, очень хотелось наградить бедных животных резковатыми эпитетами, но она вовремя прикусила язык.

— А кто поверит? Кому докажешь?

На громкий разговор супругов вышли Цабу и Шиуна, только что отведавшие небогатого угощения. Свимонке стало стыдно за свою несдержанность. Он поднялся с небольшого плоского камня, отер разгоряченное, вспотевшее лицо и, стараясь избавиться от чувства неловкости, не нашел ничего лучшего, как беззлобно попрекнуть своих гостей:

— Ох, знал я, и меня он погубит, и сам погибнет! Где мне теперь искать его? Не времени жаль, шут с ним, с этим временем... и побегать я не прочь, раз уж так пришлось! Но хотя бы знать, в какую дыру он сунулся?! А то ведь, может, он через Сацалике в Имерети подался, а, может, здесь, в Окрибе схоронился! Дорог-то прорва на свете, всех не угадаешь! Поди,

сыщи иголку в стог сена! Да и не хочу я вовсе ради двух каких-то животных, озолотят пусть меня, против совести своей идти!

— Прости меня, Свимонка, но не к лицу тебе такие рассуждения, — заступилась за мужа Цабу, заслужив тем самым исполненный восторженной признательности взгляд рядом стоявшего сына. — Кого-кого, а Прамону бесстыжим грех называть! Это ты лучше меня знаешь, иначе в кумовьях бы у него не ходил. Бесстыдники те, кто миролюбца и бессловесника Прамону до края довели!

— Замолчи, женщина, что ты там мелешь такое! Не услышал бы кто, а то несдобровать нам всем! Ты что же, семью мою загубить хочешь?

— Вы уж извините нас за беспокойство! Пойдем, сынок! Видать, хлопотно пособничать в таком горьком деле, как наше!

— Да куда же ты? — загородила дорогу кума, подавив в душе обиду за пристыженного мужа. — Ты его не слушай. Известное дело, — мужик! На ночь я вас никуда не пущу, клянусь детьми! С рассветом отправитесь!

— Нет, нет, мы и так уже вам изрядно надоели, — заторопилась было Цабу, хотя и понимала, что остаться в доме Свимонки гораздо разумнее, чем брести назад по ночному бездорожью.

— Да полно тебе дуться, детьми малыми заклинаю!.. И мужика понять надо... ну, вырвалось у него, не нарочно ведь... С кем не бывает?!

Свимонка, обескураженный всем происшедшим, под вечер куда-то ушел и вернулся далеко за полночь. Цабу слышала, как он прямым направился к дощатой веранде, в летнее время служившей супругам просторной спальней. Прошло несколько минут, и у самых дверей комнаты, которую хозяева отвели гостям, заскрипели неплотно пригнанные доски нового пола.

— Цабу, ты спишь, дорогая? — раздался осторожный голос кумы.

— Заходи, заходи, какой уж здесь сон?!

— Мой-то вернулся... Исколесил округу вдоль и поперек. Каждый покос, каждый выгон обошел, — и все без толку. Даже в монастырь заглянул: а вдруг

монахам известно что-нибудь... Э, пустое!.. Ищи ветра в поле!

— Ох, не пощадил нас Всевышний, обрек на страдания! Вставай, сынок!

Шиуна мигом вскочил на ноги, словно только и ждал момента, чтобы навсегда покинуть этот негостеприимный, неприветливый дом.

— Как, вы уже уходите? Рано еще, Цабу, темно, с дороги собьетесь! Погодите часа два, заря займетя, тогда и тронетесь...

— Нет, нет, новых хлопот вам не доставало! Да и надежды никакой, чего зря рассиживаться?! Перед Свимонкой извинись за меня: взорвалась понапрасну. Нет мочи больше держаться!

Уже порядком рассвело, когда мать и сын добрались до Тлуги. У колхозного коровника, построенного прошлой осенью из остатков разрушенной церкви да могильных камней, Цабу заметила пастухов. Они выгоняли наружу неухоженную, перепачканную навозом, исхудавшую — кожа да кости — скотину. Возле грубо сколоченных ворот натужно урчала разбитая полуторка с опущенными бортами и как-то нерешительно пыталась въехать задом во двор.

Цабу и Шиуна незамеченными быстро прошмыгнули мимо хлева и вышли к аробной дороге, некогда тщательно вымощенной крупным булыжником, а теперь тускло зиявшей грязными натеками воды в многочисленных глубоких выбоинах. То, что произошло дальше, не укладывалось даже в самые дерзкие предположения Цабу. Из густостойного кустарника, тянувшегося по обеим сторонам дороги, вдруг донесся приглушенный мужской оклик: «Шиуна!»

Мать и сын переглянулись — не показалось ли? — и после того как повторный зов устранил все сомнения, остановились словно вкопанные.

— Прамона? От кого же ты прячешься, голова садовая? Выходи на дорогу сейчас же! — крикнула Цабу, опередив оцепеневшего от неожиданности сына, который через мгновение, как подмытый водой камень, сорвался с места и ринулся в гущу кустарника.

Когда наскочил Прамона, увлекаемый Шиуной, явил свету свое небритое, осунувшееся лицо, Цабу

не выдержала, подбежала к мужу, обхватила руками его заметно поседевшую голову и залилась слезами.

— Ну, ну, мокроту развела... Хватит, стыдно ведь, — смущенно поглядывая на сына, постарался умиротворить жену Прамона.

— А что же, мне смеяться, по-твоему? Все уже передумали за это время! От кого прячешься? От властей? Да они из-под земли тебя достанут, сам знаешь. Лучше бы весточку о себе какую подал, не сходили бы с ума!

— Виноват, Цабу, признаюсь!

— Бычков-то куда подевал?

— Здесь они, в кустах привязаны.

— Наказали пуще зеницы ока беречь, — не то, говорят, за каждую шерстинку пропавшую по закону ответит!

— Ищут меня?

— А то как же! Дважды справлялись... В сельском меня притянули, расписаться велели: или приведи самого, или подскажи, где искать... Кума твоего проведать не забыли, прямо на выкос милиция приспела, хорошо, хоть не схватили! Я уж тебя живым увидеть не чаяла, — глаза у Цабу вновь повлажнели и по правой щеке скатилась крупная слеза. — Мальчишка совсем извелся, дома не удержать было. Знаешь же его, постреленка!

— Хорошо, хорошо, ступайте, пока не стемнело. Может, я и приду сегодня ночью.

— Прамона! Я отсюда без тебя не уйду! — решительно сказала Цабу, заявляя о своих правах любящей, верной супруги. — Живым нашла и терять нано-во?! Нет!.. Что было, то было, извинись перед ними: так, мол, и так, по недомыслию, по дурости ошибся. Хочешь я вместо тебя Самсонке в ноги упаду?!

— Как же мне после этого мужчиной зваться? — жалко улыбнулся Прамона.

— Подумаешь, еще чего! Да ты пойми, все у них в руках. Как хотят, так и вертят. Теперь не наше время! Оно конечно, кому же скотину, своими трудами выращенную, на чужой двор отдавать хочется?! Но ничего не поделаешь! Пораскинь умом, ты же неглупый мужик! Годится ли ради двух быков, пусть

хоть позолотой они покроются, головой рисковать? Что люди скажут? На смех ведь поднимут! Поделом им, крохоборам, раз ума нет, вот что скажут! Тебе, видно, не терпится врагов порадовать!.. Правильно я говорю, сынок?

— Его-то чего спрашиваешь? Не хватало мальчишку в это дело вмешивать.

— Обоих вас спрашиваю. Оба вы мужики у меня, и все должны решить по-верному, по-мужски!

— Взглянула бы ты на наших красавцев, — клянусь, и про упряжь позабыла бы... Ну до того они хороши, что только любоваться ими впору! — Прамона махнул рукой в сторону кустарников. — За эти три последних дня особенно подглядывались... Конечно, на траве сочной да на чистой воде отчего же бока не нагулять?!

— Зато ты, бедолага, от голода скоро ноги протянешь. Сыр и мчади, поди, уже давно вышли! Так что давай, помянем Бога и поспешим, пока совсем не стемнело. Детишки все глаза проглядели, нас дожидаясь. И перед соседями стыдно мне.

— Вы идите, а мне пару дней погодить не мешало бы, пока все прикину да обмозгую. Харчей с мальчишкой пришли. Долго искать не придется, поблизости буду, сам и окликну, как в этот раз.

— Ох, не хитри, Прамона, детьми тебя заклинаю! — пылко воскликнула Цабу и, уже остывая, чинным, степенным тоном продолжила: — Возвращайся — и дело с концом! Сам же говоришь, не вся правда на свете перевелась! Люди слово молвят, соседи заступятся. Да и власти, может, на попятный пойдут, как увидят, что мы в грехах каемся, авось и быков нам оставят. Чем черт не шутит, всяксе бывает. Государство от этого не обеднеет.

Жаркие слезы жены, ее клятвенные просьбы вперемешку с угрозами заставили Прамону повиноваться и сложить оружие.

— Ладно уж, чему быть, того не миновать, — покорно сказал он и ласково обратился к Шиуне: — Там они, к грабу привязаны... Сбегай, сынок, отвяжи и пригони-ка сюда.

— Давно бы так, — успокоила Цабу расстрсенного было принятым решением мужа. — Далась тебе

эти бычки?! Лишь бы беду пронесло, — и за то спасибо! Не видишь, что творится? Все кувырком летит толком и не знаешь, куда приткнуться, как непогоду эту переждать!

4

Уже в сумерках они обошли стороной Никорцминду и в поздний, предполуночный час наконец-то добрались до своего дома. По пути Цабу забежала к Улумпе, разбудила малышей и, взяв их на руки, поблагодарила соседку за оказанную милость. Тем временем предупредительный Прамона завел быков не в хлев, где на привязи стояла недавно вновь отелившаяся дойная корова Нотия, а в кукурузный амбар, запиравшийся снаружи. Появись на подворье колхозные экспроприаторы, они все равно рано или поздно подступились бы к амбару, но зато теперь и Прамона мог выиграть время для принятия какого-либо спасительного решения.

Цабу живо вскипятила молоко, разогрела на углях вчерашние мчади, достала из кадушки сыр и придвинула к очагу низкий продолговатый стол, который незадолго до смерти смастерил свекор. За нехитрой едой да сердечной беседой незаметно промелькнуло время, и едва супруги наконец-то слегка задремали, во дворе Улумпы истошно заголосил хромоногий петух.

— Прамона! — затормошила мужа Цабу. — Быстрей вставай да в контору пораньше отправляйся, не то разбегутся все по своим делам, никого не застнешь!

Не проронив ни слова, Прамона послушно сел на кровати и начал одеваться.

И в конторе, и в селькоме, бревенчатые здания которых стояли во дворе рядом, появлению Прамоны немало удивились, поскольку по всему селу из конца в конец гулял слух о том, что сын Сепе Даравелидзе подался в разбойники. Ладно бы один, а то ведь кума Свимонку Мацаберидзе за собой поволок да еще с десятков лихих ребят. Сколотил, сказывали, отряд, и промышляет пока на местных дорогах, день-

ту копит, а потом вроде как в Аджарию собирается, чтобы уже оттуда к басурманам уйти.

Иные, жалея Прамону, искренне недоумевали: какого это беса сын Сепе Дарахвелидзе в лесу хоронит? И дом у него полная чаша, и еды-питья вдоволь, и жена с детишками — одно загляденье... Из-за какой-то пары быков трезвон поднимать?! Другие во всем винили Прамону, а третьи вообще ничему не верили, прислушиваясь, однако, к разным мнениям.

Специально прибывший милиционер в то же утро повез Прамону в район. Чего-чего, а уж такого поворота событий он не ожидал. Будучи глубоко уверенным в своей невинности, и к тому же памятуя о том, что ни дед его, ни отец к правосудию не имели никакого касательства, Прамона раздраженно вспыхнул:

— Ну как же, вселенского разбойника заарканили!.. Молодцы, нечего сказать!

— Разбойник ты или одуванчик божий, это там выяснится, а пока, коль жизнь дорога, помалкивай да не смей над нами подтрунивать! — грубо отрезал сидевший верхом на лошади Самсон, который вместе с председателем селькома и милиционером пыльными деревенскими закоулками препровождал Прамону, ровно какого-нибудь опасного государственного преступника.

Теперь Прамона ясно осознал бедственность своего положения и предпочел замолчать на все десять-пятнадцать километров пути, чтобы случайным словом не причинить вреда самому же себе. Всадники все время понукали лошадей. Прамоне приходилось то замедлять, то убыстрять шаг: ни забегать вперед, ни отставать от конвоя не дозволялось.

В милицейской дежурке, где добрая дюжина таких же горемычных молчальников безропотно ожидала решения своей участи, Прамона пробыл недолго. Тот же пожилой милиционер, от самого Наманеви продремавший всю дорогу и пару раз едва не вывалившийся из седла, крепко взял его за локоть — не сбежал бы ненароком! — и мимо изнуренных многочасовым томлением людей провел в комнату начальства. Председатель колхоза Самсо Бичашвили и главный селькомовец Ласико Двали уже сидели за

длинным столом, обитым зеленым сукном. Рядом опершись руками на еще более внушительную столешницу, расположился председатель райисполкома Тедо Давлианидзе — гладковыбритый, с закрученными кверху усами мужчина в перепоясанной ремнями защитной гимнастерке полувсенного покроя.

— Фамилия? — строго спросил председатель райисполкома.

— Дарахвелидзе. — ответил Прамона, обеими руками комкая прижатую к груди шапку.

— Имя?

— Прамона.

— Отчество?

— Сепеевич.

— Год рождения?

— Не помню...

— Как это не помнишь?.. Не помнишь год своего рождения, охальник ты этакий?! А что же ты помнишь?

— Кажется, девятьсот шестой, а может быть, девятьсот седьмой...

— А где родился, тоже не помнишь?

— Рачинский уезд, село Наманеви...

— Ни уездов теперь нет, ни губерний. Не слышал, что ли?

— Отчего же, начальник, не слышал. Не тетеря же глухая и не обалдуй круглый!

— Ох, какой у тебя язык-то острый! Чего же ты все твердишь: «уезд» да «уезд»? По старым временам тоскуешь?

— Нет, батоно! Я так, просто...

— И «батоно» это ты брось! С господами покончено навсегда! Трудовой народ всех этих господ к чертям собачьим спровадил. Мир перевернулся! Ясно тебе?

— Ясно, батоно!..

— А теперь скажи, только без обмана: почему на тебя вот эти люди жалуются? Чего это ты там в Наманеви воду мутишь, переполох устраиваешь, соседей покоя лишаешь?

Прамона еще крепче прижал шапку к груди и обратил на деревенских вожаков долгий, просящий о помощи взгляд. Очень хотелось верить, что оба ста-

нут на его сторону. Да и как могло быть иначе?! Все они росли в Наманеви, с малых лет водились друг с другом, вместе переступали порог взрослой жизни, и если когда-либо расставались, то вынужденно, причем, ненадолго — рекрутировались в солдаты, за живой копейкой уходили на отхожие промыслы, или, скажем, записывались на счетоводческие курсы в ближайшем городишке. А потом снова собирались все вместе в родной деревне. Но в последнее время словно дьявольскими ветрами подуло, круто изменившими быт и нравы людей. Вчерашние однокашники, которых нельзя было разлить водой, гурьбой ходившие хоть в храм, хоть на выпас, теперь набычились, озлились и отмежевались друг от друга. Одни постепенно пробирались наверх, становились влиятельными персонами на селе, другие поначалу с большой неохотой, а затем уже беспрекословно подчинялись всесилию недавних друзей и не осмеливались даже заикаться о прошлом. Год-другой назад Самсо и Ласико непременно сказали бы этому наделенному неограниченными полномочиями, оплетенному ремнями человеку, что случившееся недоразумение улажено, поскольку Прамона Дарахвелидзе, их односельчанин и друг юности, явился самолично в сельком и готов выполнить любое распоряжение советских властей. В глубине души Прамона все еще на что-то надеялся, но деревенское начальство, будто проглотив язык, сидело молча, не обмолвлялось ни дурным, ни утешным словом.

— Слушаем!.. — Тедо Давлианидзе отодвинул от себя заполненную окурками глиняную пепельницу и снова водворил ее на прежнее место. — Онемел ты, дружок? Давай, давай, развяжи язык! История эта с быками... она, что, никак вправду случилась?

— Угу, — кивнул головой Прамона.

— Прятал, значит?

— Прятал.

— Ну и что потом?

— Назад пригнал, как велели... В хлеву у меня на привязи стоят.

— Как велели, говоришь... А то, что колхозники «Красной звезды» в черный список гражданина Дарахвелидзе занесли, тебе известно? Не корчи из се-

бя несмышлениша! Знаем мы таких пройдох, и то знаем, где им местечко уготовано. Или ты, дурья башка, думал, что укроешь скотину от рабоче-крестьянской власти и тебе это вредительство с рук сойдет?!

— Какое вредительство, товарищ Давлианидзе, в чем я провинился? Быки мои — все село подтвердит. Я их ни у кого не украл! Кормил, лелеял, от себя кусок хлеба отрывал, лишь бы им сытнее жилось! Да что же вы молчите, люди добрые, или я неправду говорю?

— Не пойму я, гражданин Дарахвелидзе, то ли ты притворяешься, то ли впрямь не слыхал: нет у нас теперь личной собственности, с этим «твое—мое» покончено, все в общий котел свалили!.. А потому тебя как яростного поборника старого режима, село в черный список занесло и раскулачить решило. С классовыми врагами мы, большевики, только так боремся. Уже и день назначили публичной распродажи твоего движимого-недвижимого имущества. И не вздумай противиться, — тебе же хуже будет, на корню сгноим, следа не останется! Скажи спасибо, если тебя, вражьего пособника, из дома не выселим да в Ишачью баню не засунем. Наплодил малолеток кс времени, не то бы круто с тобой обошлись!

Полные губы Прамоны затряслись мелкой дрожью, в глазах блеснули слезы, он только и смог глуховато произнести:

— Я за свою жизнь никогда дармоедом не был, а вы на меня все грехи земные решили повесить! Побойтесь Бога! В чем моя вина? Самсо, Ласико!..

— Поговори у меня! — председатель райисполкома грозно задвигал гладковыбритой челюстью. — Людей хочешь разжалобить? Ты против кого идешь, недотепа, против Советской власти? Против воли народных трудовых масс? А того не понимаешь, на кого замахнулся! Да тебя, как козявку какую-нибудь, по стенке размажут!

У Прамоны пересохло во рту и он, мутнея сознанием, ни слова не мог выговорить в свое оправдание. Вряд ли бы кто поверил, но хотелось сказать, что у него и в мыслях не было идти против Советской власти и что вовсе не ради борьбы с ней он заступился за этих разнесчастных бычков — пожалел просто

свои труды. Чуть живой Прамона дотащился до дома и, едва переступив порог, упал как подкошенный. Сказались голод и тревожения долгого дня. Цабу закричала что было силы и бросилась на помощь мужу. Перепуганные дети ударились в громкий плач. Приковыляла слепая старуха Улумпа, единственная из односельчан оставшаяся верной христианскому долгу.

Село будто вымерло. Никто не посмел и носа высунуть. О том, что должно произойти, в отличие от Прамоны, соседи знали полутора днями раньше, поскольку почти все они присутствовали на общем собрании «Красной звезды», причислившем Прамону и еще пятерых зажиточных наманевцев к позорному сословию кулаков-кровопийц. Вопрос решался открытым голосованием. Еще не привыкшие к подобным вещам колхозники поначалу молчали, колеблясь и не зная, как себя повести: распять соседа, проголосовать против или же воздержаться. Наконец двое мужиков из заднего ряда, до которого почти не доставал свет председательской лампы, подняли руки. «Ну что, до рассвета нам здесь куковать? — завидев это, приналег на собравшихся Самсо. — Похоже, коекому мнение представителей колхозного руководства и партийных властей кажется неубедительным?!»

От последних слов председателя многим стало не по себе. Липким, животным страхом обволоклись сердца. Робко потянулись вверх руки в первых рядах. Горькому примеру последовала и середина. Колхозные «шишкари» протаскивали бесовское предложение. Люди смущенно отводили глаза в сторону, обманывая себя в наивном желании остаться незамеченными и в то же время тайно стремясь углядеть, кто же еще вместе с ними тянет к потолку пятерню. — Единогласно!... Опускайте!.. — пробасил председатель и небрежным взмахом руки велел Ласико Двали внести в роковой список фамилию еще одного обреченного.


Прамона постепенно пришел в себя. Кое-как, без помощи сыновей дополз до кушетки, на которой всего лишь три года назад перед отправкой в мир иной стояла домовина Сепе, и еле слышно произнес: — Раскулачили, Цабу... В черный список занесли!..

Цабу побледнела как полотно, но не проронила ни слова, а только расстегнула Прамоне ворот рубахи и напоила его чистой родниковой водой. Потом натерла мужу виски разведенным уксусом, припала к щеке и горячо зашептала:—Ничего, ничего, лишь бы ты был с нами, лишь бы у тебя душа не саднила! Как-нибудь перебьемся, не мы же одни под такой напастью живем. Не бойся, одного тебя не оставим... Случится что, — и в преисподней ни на шаг от тебя не отступим. Только бы хвори тебя не грызли, только бы здоровьем не ослаб!..

5

Публичную продажу имущества раскулаченного Прамоны Дарахвелидзе назначили на пятницу. Специально выделенные для этого селькомовцы, с которыми когда-то Прамона бегал в наманевскую семилетку, во избежание случайной пропажи имущества попредметно описали его и проставили рядом продажную цену. В последней операции им помогал районный фининспектор Павле Гваладзе.

Распродаже подлежало все, за исключением земельного участка, на котором стояли дом и прочие хозяйственные постройки. Посреди зала, на раздвижном столе, сработанном хванчкарским столяром, лежали накрахмаленные пестрые скатерки, серебряные вилки и ложки, обручальное кольцо, другие вещички из приданого Цабу. Тут же покоились золотые серьги — подарок свекрови, два подноса, наборный пояс Сепе, невесть когда купленные им же во Владикавказе карманные часы чужеземной марки, на задней крышке которых красовался выгравированный фазан, кинжал в инкрустированных вороненых ножнах, папаха с красной подкладкой, надеваемая по праздничным и выходным дням. В углу стояла зингеровская швейная машинка, поодаль — два больших медных чана для варки мяса по крупным торжественным либо, слава Богу, нечастым скорбным поводам, — в остальное, «нерабочее» время в них хранились лобиги и кукурузная мука. Продавались три кровати с никелированными спинками, матрасы, занавеси, шесть



новехоньких липовых кадок, амбар, свинарник, арба с бороной, сани, семь разновеликих винных кувшинов, глубоко вкопанных в землю, деревянные лопаты, очажная цепь, черпаки, вместительные чугуны с ручками и множество других предметов домашней утвари.

Из хлева доносилось голодное мычание недавно разрешившейся коровы и бычков, явно недовольных тем, что их, по обыкновению, не гонят на пастбище. Согласно спешному предписанию селькома, к полудню — началу публичных торгов, скотина должна была находиться в стойле и послушно дожидаться приговора судьбы, мало в чем отличной от участи всего остального движимого-недвижимого имущества семьи Дарахвелидзе.

Народ стал стекаться с раннего утра. Сначала потянулись люди из окрестных сел — кто ради праздного любопытства, а кто не без плутовского желания прибарахлиться по дешевке. Затем к дому отъявленного врага народа заторопились и сами наманевцы. У всех на памяти была недавняя распродажа в соседних деревнях — Хончиори, Патара Они, Абаноети, когда по копеечной цене с молотка пошли весьма приличные вещи. И теперь, рассуждали местные селяне, коль уж так дело обернулось, зачем же дарахвелидзевскому добру ускользнуть из родного села с какими-то пришельцами?! Лишний кусок при нашей бедности и нам пригодится!

Солнце уже подбиралось к зенитной выси, до двенадцати оставалось всего ничего, когда на тонконогих ахалтекинцах появились Самсо Бичашвили и Ласико Двали. Их сопровождали три милиционера, за спинами которых поблескивали холодно-матовые штыки, примкнутые к самозарядным винтовкам. Блюстителей порядка специально прислали из райцентра, дабы предотвратить возможные неприятности во время торгов. Здесь же был плосколицый, будто русский топор, фининспектор Павле Гваладзе, тот самый, что днем раньше вместе с депутатами селькома произвел опись имущества. Теперь, перед самым началом распродажи ему вменялось в обязанность еще раз описать весь скарб: не дай Бог Дарахвелидзе припрятал

какую-нибудь штуковину у соседей или передал своей многочисленной родне.

Ровно в двенадцать пожаловали районный судья, помощник прокурора и заместитель начальника милиции. Председатель сельсовета Ласико Двали вышел на балкон и размеренно, по слогам (хотя, надо сказать, текст, разборчиво написанный девушкой-секретаршей, он знал наизусть) зачитал постановление общеколхозного собрания, согласно которому кулак Прамсна Сепеевич Дарахвелидзе объявлялся врагом народа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Справа от Ласико стоял грозно насупившийся Самсо, слева переминались с ноги на ногу судья и замначальника милиции, который постоянно держал руку у пояса, на деревянной кобуре с упрятанным в ее глубинах маузером. Позади них возвышались помощник прокурора, бригадир Амбако и фининспектор Павле Гваладзе. Народ — и наманевцы, и пришлые — живой стеной заполнил пространство двора, любовно прибранного хозяйкой, и покорно внимал всему тому, что от имени трудового крестьянства зачитывал с балкона ветхого домишки Ласико Двали, если, конечно, его занудливое бормотание можно было назвать чтением.

Бравые милиционеры, специально вызванные для охраны общественного порядка, прошагивали в некотором отдалении от людей и неусыпно следили за Прамоной, который в ожидании сурового приговора вместе с расстренной женой и детьми стоял перед отцовским, обреченным на разор амбаром. Для милиционеров подобные экзекуции уже давно стали привычным делом. Они и сейчас исправно несли свою службу, правда, втайне мечтая о глотке вина да скромной закуске, потому как прибыли на место сразу после ночного дежурства и с нарастающим чувством досады понимали, что вся эта канитель затянется допоздна.

Ласико Двали благополучно добрался до самого конца, с рачинской неспешностью закрыл свой толстый кондуит, сунул его под мышку, и напоследок выпустив парочку безадресных угроз, уступил место у балконных перил фининспектору Павле Гваладзе. Новый оратор был, конечно, же, несравненно обра-

зованнее предыдущего. Он резво, скороговоркой начал зачитывать длинный список конфискованного имущества Прамона Дарахвелидзе, имущества, нажитого многолетним трудом его предков или же числившегося за приданым жены.

— Скотины-то сколько голов? — донесся из толпы чей-то нетерпеливый голос.

Павле Гваладзе, боясь ошибиться и потому не отрывая остроскулую, будто обструганную рубанком физиономию от вороха пожелтевших бумаг, тут же задал встречный вопрос:

— Две коровы... А кто спрашивает?

— Я спрашиваю, нельзя, что ли?

— Почему же, вот я для тебя и объявляю: две коровы, одна дойная, недавно отелилась, а вторая — ялочка. Понятно?

— Ты давай, давай про других!..

— Одна телочка на ногах еще толком не стоит, другая покрупней — с полгода будет, ну и пара добрых бычков, — хоть сейчас запрягать можно...

Люди зашумели: похоже, им что-то было неясно. Гваладзе продолжал громко чеканить слова:

— Два кабанчика. Одна свиноматка при дюжине поросят, причем вся дюжина — самочки. Пять овец... Не так, Прамона?

Все разом повернулись в ту сторону, где ни жив ни мертв стоял Прамона со своей несчастной семьей.

— Так, — не поднимая головы, ответил замогильным голосом Дарахвелидзе.

— По полному списку читаю. Ничего не выпало? Если что скрыл, — скажи, не то хуже будет!..

— Куда уж может быть хуже?.. Все, все там... Ты же сам здесь был.

— Смотри, если что и утаил — по закону ответишь!

— Брось грозиться, Павле! Что есть — все на виду!

— Ну, а теперь как быть? — фининспектор глянул сначала на милицию, но тут же обратил свое востроносое лицо к деревенскому начальству.

— Товарищи! — председатель сельсовета локтем отодвинул фининспектора назад, а сам стал на его место. — Публичные торги объявляются открытыми.

Как вам известно, имущество оценено. Прошу соблюдать порядок и не вынуждать сотрудников милиции подключаться к работе. Платить, разумеется, наличными. Деньги сегодня же должны поступить в банк. Верно, товарищ Павле? Ежели что неясно, пожалуйста, на то мы и рядом — разъясним!

— Эй, а в распродажу все идет?

— Говорилось же: все как есть — дом, хлев, амбар, саманник, марани...

— Бог ты мой, так на что же этим несчастным жить?!

— Кто это там рассопливился? Не твсего ума дело!

— Амбар я куплю, я на него первым глаз положил! Мой амбар. И не спорьте, а то...

— Ну что ты ерепенишься?

— Мой амбар, никому не отдам!

— Мать честная, неужели в Наманеви купцы перевелись? Тогда и впрямь в Абансети амбар отправится.

— Да чего вы скопом на эту железо-скобяную всячину набросились? Должен же я знать, кто таз купил, кто кастрюлю, а то разбежитесь, не заплатив!

— Ну вот еще, нет среди нас таких!

— Вы белье-то не растаскивайте порознь! Простыню, наволочку, наперник — все вместе берите.

— Эге, а если не под силу за все разом заплатить?

— Не можешь, так не суйся — другие найдутся!

Цабу было больно смотреть на полуобезумевших соседей, с непередаваемой жадностью набросившихся на почти дармовую поживу. Страх мелкой дрожью прошелся по всему телу, она закрыла лицо платком и стала горько всхлипывать. Рядом, размазывая по лицу слезы грязными кулаками, плакали дети. И только глаза Прамоны, остолбенело уставившегося в одну точку, мерцали сухим воспаленным огнем. Так — недвижно, не видя, не слыша никого — стоял он до тех самых пор, пока народ не направился к хлеву, чтобы выпустить запертую там, сутки не кормленную скотину и заняться ее дележом. С громовым ревом Прамона рванулся с места и в мгнове-

ние ока растолкал сгрудившихся возле хлева людей. В руках у него, откуда ни возмись, оказался длинный отцовский кинжал. Не на шутку перепуганные селяне кинулись врассыпную. Еще никому никогда не доводилось видеть Прамону в такой нечеловеческой ярости.

— Прамона! — наконец-то пришла в себя опешившая от мужниного буйства Цабу. — Помогите, люди добрые! Остановись, прошу тебя, ты что задумал?

Тем временем Прамона подступился к хлеву, откинул наружную щеколду, распахнул двери и выпустил на свет белый застоявшихся бычков. Изголодавшиеся за сутки Цабла и Нугеша, оттирая по пути Прамону к ивняковому плетню, опрометью бросились вон, и, если бы встречные солнечные лучи не заставили их слепо остановиться, как знать, может быть, собравшемуся люду на себе пришлось бы испытать мощь четвероногих острожников.

Произвольное, естественное при других обстоятельствах поведение животных сейчас еще больше разъярило Прамону. Он повернулся лицом к тому быку, который стоял ближе — им оказался Нугеша — и решительно, без жалостливого промедления вогнал ему под левую лопатку отцовский кинжал. По самую рукоять. Бык рухнул наземь, из раны фонтаном забила кровь. Не успела она смешаться с придорожной пылью, взятыся темными, густеющими комками, как Прамона в два прыжка настиг Цаблу, схватил за ухо, запрокинул голову назад и дымящимся, искровененным кинжалом полоснул его по горлу.

— Папа, что же ты наделал, папа?! — отчаянный надрытый плач Шиуны вернул Прамону к действительности. Он обмяк, бессильно понурил голову и не сопротивлялся ни тогда, когда мужики-соседи крепко схватили его с обеих сторон под мышки, ни тогда, когда подоспевший милиционер отобрал отцовский кинжал, оцененный, кстати, фининспектором Павле Гваладзе в восемь рублей девяносто две копейки.

Мало-помалу сердце Прамоны забилося ровнее, оскорбленная душа утешилась сознанием того, что бычки все же не достались в пользование наглому, самодовольному врагу. А они, бедные, скользили в

собственной крови, глухо хрипели, и предсмертная поволока уже затягивала им глаза, отодвигая в невидимую глубь горький, недоуменный вопрос: как мог хозяин, тихий, мягкосердечный Прамона извереться, озлиться, изойти желчью до такой степени, что враз позабыл про доброе назначение своего естества?!

— Нехристи, безбожники, исчадия ада! Куда вы его ведете? Чтоб вам живыми в эти ворота не выйти! Астматик он, еле дышит, преставится еще по дороге! Да перед кем он провинился, будьте вы неладны! А мы, мы в чем виноваты? Господь Бог, если ты и впрямь существуешь, — отомсти разорителям нашим, не пройди мимо их злодеяний! За все спроси с обидчиков моих детей!

Цабу голосила на всю деревню, но к ее причитаниям никто не прислушивался. Каждого заботили свои большие или малые тревоги, да и встречать в чужие передряги никому не хотелось. Обрадованные возможностью поразмяться, милиционеры быстренько заложили Прамоне руки за спину, а чтобы он ненароком в пути не дал деру, вдобавок крест-накрест перетянули ремнями и, вытолкнув на большак, гурьбой пошли следом. Прамону душили слезы немощи. Он даже не успел успокоить семью, сказать ей в утешение пару теплых слов: держитесь, мол, родные, я скоро вернусь... с меня, невиновного, спрашивать не за что! И Шиуна, подросший, возмужавший сын остался без отцовских наставлений, а ведь как было бы кстати приободрить его, подойти, положить руку на плечо и, заглянув в глаза, шепнуть: «Пусть и грозен враг, да не сладить с нами. Господь Бог справедлив, обо всем ведает, каждому воздаст должное! Ну, сынок, теперь тебе домом заправлять, обязан выдюжить!»

Не вымолвил Прамона заветных слов, — так уж случилось, но представьте себе, сбылись его тайные пророчества. Всевышний всем воздал по заслугам. Ровно через две недели забрали полновластного хозяина округа, председателя райисполкома Тедо Давлианидзе. Говорят, коня он седлал, чтобы с переодетыми районными «гепеушниками» мчаться во весь опор к месту очередного раскрытого заговора, а тут раз — ордер на арест ему в нос тычут. Он в крик:

«Да как вы смеете, я — Тедо Давлианидзе, неужто не слыхивали про меня?!» А ему так спокойно отвечают: «Слышали, слышали, ты-то нам и нужен», — и ежеливо в «черный воронок» подсаживают.

Шушукались селяне, а потом уже прилюдно объявили, что Тедо английская разведка завербовала и специально направила в Рачу для ведения там подрывной работы против Советской власти. Он систематически получал крупные валютные суммы от нелегально окопавшегося в Поти ихнего резидента. Вот и поди после этого верь людям: на вид вроде бы все такие благообразные, а как копнешь глубже... В деле Давлианидзе оказались замешанными Самсо Бичашвили и Ласико Двали. Немного погодя всплыли имена начальника милиции, заведующего земагделом, и фининспектора Павле Гваладзе, которые тоже впрямую были причастны к этой отвратительной истории. Ходили упорные слухи, что мерзкие отщепенцы намеревались отравить водохранилище и с этой целью где-то в дальних верховьях сбросили в реку изрядное количество мышьяка.

Что касается лично Прамоны Дарахвелидзе, то на третий или четвертый день его вместе с другими двенадцатью арестованными, обвиняемыми в подрыве Советской власти, перевели в кутаисскую тюрьму. Дежурный милиционер, возвращая Цабу увязанные в снежно-белый лоскут харчи и предупредительно озираясь по сторонам, тихо шепнул:

— Возьми, сестрица, мальцов своих покорми... Ему теперь уже твоего ничего не понадобится.

— Что ты такое говоришь, мил человек? Понятно растолкуй, Христом-Богом прошу! Как он там? — в полный голос запричитала Цабу.

— Тише, тише, чего ты раскричалась?

— Где Прамона?

— Откуда мне знать!

— Скажи, заклинаю тебя... Дети мои все отца на дороге высматривают, — пожалей их!..

— Ну хватит, хватит, ступай отсюда, а то и мне худо придется. Таких, как ты, тут тыща в день ходит!..

— Не скажешь, значит?

— Да что мне сказать? Я человек маленький... Хочешь, чтоб и меня в каталажку кинули? Ступай,

за детьми лучше присматривай, мой тебе совет. Мужа-то как зовут?

— Прамона.

— Фамилия?

— Дарахвелидзе.

— А, Дарахвелидзе Прамона... Тот раскулаченный, что быков прикончил? Ступай, ступай. Если суждено, то вернется, а нет — так все равно слезами да криками горю не поможешь! — буркнул напоследок дежурный милиционер, прикрывая за собой дверь затхлого подвала, в котором до поры до времени содержали новоприбывших арестантов, и уже без всякого внимания к растерянной Цабу, по-простому итожа затянувшуюся беседу, добавил: — Так-то!..

Над селом сгустилась полночная плотная тьма, когда до края измученная, отчаявшаяся Цабу, одолев кое-как вязкий песчаный косогор, остановилась у плетня, окружавшего небольшую, запущенную усадьбу старухи Улумпы. Едва она протиснулась сквозь аккуратно проделанную в изгороди дыру, как полуприкрытые двери дома широко распахнулись и навстречу матери с радостными криками выбежали дети, уже в который раз остававшиеся на попечении отзывчивой соседки. Цабу молча всучила в руки старшему сыну узел с едой и шаткой походкой направилась к дому. Шиуна все понял и стиснул зубы: колене приняли передачу, значит, дело обернулось большой бедой. Он живо представил отца, Нугешу, Цаблу, дедовский окровавленный клинок — и на глазах мальчика выступили крупные слезы. Все то время, пока мать, накормив младших братьев скудным отцовским пайком, укладывала их спать в колченогую старушечью кровать, Шиуна тихо сидел в самом темном углу комнаты. Хотелось есть, сильно сосало под ложечкой, но он так и не притронулся к еде. Стараясь пересилить голод, мальчик привалился спиной к сыроватой стене, смежил веки и не заметил сам, как через некоторое время окунулся в некрепкий сон. Проснулся он от приглушенных, но достаточно твердых голосов каких-то незнакомых мужчин, которые деловито рыскали по комнате, заглядывая во все закутки, не замечая словно тут же стоявшую просто-

волосую, выплакавшую все глаза и оттого выглядевшую безучастной Цабу.

Шиуна вскочил, попытался было встать рядом с матерью, но один из чужаков желтозубо ослабил-ся и грубо усадил мальчугана на прежнее место, где он провел всю эту тревожную ночь — приземистую, выщербленную скамью о трех пузатеньких ножках. Спустя четверть часа пришельцы столпились у дверей, и старший жестом приказал Цабу собираться в дорогу вместе с ними.

— Это еще с какой стати? — воспротивилась женщина. — Живой отсюда вы меня никуда не уведете! Дети мои здесь! Детей хоть пощадите! Что вам от нас надо, чем мы кому досадили?! Не имеете права!..

Черные, сросшиеся на переносице брови старшего взметнулись вверх, он слегка скосил голову набок, давая знак своим подчиненным, которые в мгновение ока завернули бедной женщине руки за спину. Ошеломленный этой картиной, Шиуна бросился на одного из обидчиков матери, стоявшего ближе других, и что было силы ткнул его головой в живот.

— Ах ты, змееныш! — морщась от боли, процедил сквозь зубы усатый здоровяк и огромной ладонью ударил мальчика по лицу.

Шиуна потерял сознание, навзничь упал на пол и уже не слышал, как надсадно, с обреченным бесстрашием кричала во весь голос обезумевшая от горя Цабу:

— Шиуна, сынок!.. Да за что же такое Божье наказание?! Дети, дети мои!..

СИРОТЫ СУЛХАНАУРА

После схватки в Узундарской балке Какуце Чолокашвили и его отряду дольше задерживаться в Кизики стало уж вовсе не с руки. Сюда привел их навалившийся с четырех сторон голод, но и здесь надежды людей быстро истаяли. В этом богатейшем урожайном крае Кахети, да и всей Грузии, дела также обстояли отнюдь не лучшим образом.

Каждые два-три дня несколько дюжих, основательно знавших окрестности парней отправлялись в села за провиантом, и тогда весь отряд с нетерпением ожидал их возвращения. Бдительные дозорные, караулившие лагерь на случай внезапного нападения врага, обычно первыми замечали поднимавшихся из долины добытчиков и били веселую тревогу: ого-го, дескать, идут, идут, да, слава Богу, кажется, не с пустыми руками.


Сначала из-за бугра выплывали настороженно торчавшие ослиные уши, затем — скользковатая, потная шея навьюченного, согнувшегося в три погибели животного и наконец раздавался громкий окрик:

— Ну-у-у, ишачье семя! Что же это у тебя, травяной мешок, ноги подкашиваются, уж не прилечь ли на дороге вздумал? Я тебя знаю!.. Давай, пошевеливайся, не то лозинойогрею!

Никто не ведал точно, но по слухам, ходившим среди народа, в Узундарской балке полегло никак не меньше семи-восьми десятков человек: главным образом, партийно-комсомольский актив, местная милиция, сигнахские, телавские и даже специально прикомандированные из Тбилиси чекисты, которым было поручено изловить переметнувшегося с отрядом из матанских лесов в Кизики Какуцу Чолокашвили и доставить его живым или мертвым ревкомовскому начальству.

Отряд насчитывал всего шестьдесят пять человек. Было бы и того меньше, не пополнись он добровольцами уже здесь, в Кизики. Изнуренные июльским зноем чолокашвилевцы остановились у Невестиногс ключа глотнуть ветру да хлебнуть воды, — вот тут-то к ним и пристала стайка новеньких, среди которых были обжившийся в Лагодехи закаталский ингилоец Илико Яшвили и коренной кизикец Ладо Озанели.

Дочерна обожженному жгучим кахетинским солнцем кряжистому Ладо Озанели на вид было двадцать три — двадцать четыре года. Простой крестьянин, обычный пастух, но, ровно цесаревич, гордый и самолюбивый, он никому не позволял глумиться над собой и строго спрашивал за обиду. Новые хозяева села, вчера еще блестящие попками сквозь прорехи



рванных штанов, а сегодня наделенные неограниченными полномочиями, как ни старались, подчинить себе Ладо Озанели не смогли; не хотел он плясать под их дудку — и все тут! Тогда в один прекрасный день, если такой день вообще можно назвать прекрасным, нагрянули в дом к Ладо brave ребята из милиции, описали все отцовское движимое-недвижимое имущество, скотину, птицу, да еще пригрозили выслать подальше из села как отъявленного смутьяна, неисправимого контрреволюционера и врага народа.

Ладо и здесь не переломился, резанул им прямо в лицо: вот я, мол, весь перед вами, коль такие храбрые, ну-ка, попробуйте что-либо со мной сделать! Озанели был парнем немудреным. Книгу в глаза за свой век не видывал, вместо росписи выводил на бумаге жирный крест, но глубоко в сердце у него, выросшего по законам совестливости и справедливости, гнездились твердые понятия, что на этом Божьем свете ни у кого нет права отобрать у человека добро, добытое в поте лица, отобрать и потом как ни в чем не бывало отправить бывшего владельца в преисподнюю. Тайком, уповая на безнаказанность, не думая о всевидящем, всеведущем Боге.

— Ах так! — ответили чрезвычайные уполномоченные, кликнули милиционеров, забарабанили ружейными прикладами и взломали хлев, построенный золотыми руками Ладо, полагая начать конфискацию имущества именно отсюда.

Ладо стоял посреди двора и отказывался верить всему тому, что при свете белого дня творилось у него на глазах.

Пожилая, овдовевшая еще в молодости мать Ладо и оставшаяся незамужней сестра обхватили руками коров-кормилиц: костями ляжем, а не отдадим! Костями так костями, всех вас перезтак, — и brave, в белых кительках, милиционеры бросили несчастных женщин наземь, на виду у оторопело застывшего Ладо безбожно избивали их теми же ружейными прикладами, которыми взломали двери хлева. Истерзанные, растрепанные, с окровавленными лицами женщины кричали что было сил и молили о помощи.

— Так вот же ваш заступничек! Чего же он вам



не помогает? Трепаться горазд был: выкусите, мол, у меня! Ну что, выкусили?!

Все соседи — и рядом жившие, и поодаль — попрятались по домам. Они стояли за прикрытыми окнами, украдкой поглядывали наружу, и трясясь от страха, — Господи, пронеси! — беспрестанно крестились. Охотников связываться с этим песьим отродьем не было, да и свяжись кто — что бы он получил взамен, кроме проломленной головы?!

Но тут Озанели сбросил с себя оковы оцепенения, вырвал из рук стоявшего рядом милиционера винтовку, уложил его первым же выстрелом и, передернув затвор, ринулся было к остальным. Те, ошарашенные случившимся, забыв про товарища, бросились врассыпную.

После таких дел Ладо Озанели подался в лес. Власти старались заарканить его, чтобы сполна отплатить за кровь убитого милиционера. Но не тут-то было! Ох, уж и досталось от Ладо уездным пропагандистам-агитаторам. Впрочем, не только уездным. Городских, из центра, он тоже не жаловал, особенно тех, с бескостными языками, которые часами несли околесицу на сельских сходах, устраивая их подле разрушенных сельскими же активистами церквей, в тени прадедовских лип. Не давал Ладо спуску и новоявленным визирям в длиннополых кожаных плащах: при встрече на большой дороге редко кто из них уходил от него невредимым.

Грустную озанелевскую историю поведал Какуце боец Васо Тамазашвили, который и привел Ладо в отряд мстителей.

В Узундарской балке чолокашвилевцы взяли в плен двадцать шесть человек. Среди милиционеров Ладо сразу же заприметил того, второго негодяя, который прикладом охаживал его мать и сестру, но успел улизнуть со двора. Кровь ударила в голову Озанели, он подбежал к милиционеру, схватил за шиворот, согнул и могучим пинком в зад отбросил от остальных пленников. Прежде чем кому-либо пришлось в голову вырвать из рук озверевшего Ладо смертельно перепуганного милиционера, последний уже заваливался набок и, глядя на дымящийся маузер Озане-

ли, хрипел: — За что, Ладо?.. Это не я был, не я, клянусь памятью отца... Зря убиваешь!..

Своеволие Озанели рассердило Какуцу не на шутку. — Да на что это похоже, — возмущался командир. — Если так каждый зло свое вымещать начнет, то вся наша маленькая Грузия вместе с народом льдинкой в кулаке истает. Какуца избегал бессмысленных побоищ, пуще всего он опасался кровопролития меж соотечественниками и старался разрешить дело так, чтобы эти одураченные другими, заблудшие люди сами находили путь к истине. Однако некоторые из отпущенных на волю без единой царапины соотечественников вновь принимались за старое и с оружием в руках по-прежнему вынюхивали стрядников. К таким не было ни жалости, ни снисхождения. Обвиняемому предъявлялся счет его преступлений перед верой, народом и отечеством, свой отрядный трибунал выносил приговор, который тут же приводили в исполнение, труп предавался холодной, неосвященной земле, и отряд перебирался в другой лес, чтобы уже там, в более укромном, безопасном месте разбить новый лагерь.

— Мы боремся против посягнувших на нашу землю большевиков и их приспешников, — пояснял обычно Какуца Чолокашвили помилованным пленным. — Коль грузинский народ мечтает о коммунизме, как об этом на всех перекрестках кричат Орджоникидзе и Махарадзе — пожалуйста, мы этому не мешаем. Вольному воля! Пусть строит и живет в радости, но русская армия должна уйти отсюда. Сюда ее никто не приглашал и ей здесь делать нечего. После стольких мучений и страданий Грузия обрела государственную независимость и не должна вновь ее терять. Кто не понимает этого и не жертвует во имя этого своей жизнью, тот не грузин, а изменник родины... Кроме пули, он ничего не заслуживает. Сегодня грузины безжалостно истребляют друг друга. Зачем, я спрашиваю? Неужели ради того, чтобы, потакая чьим-то бесчестным стремлениям, грудью защитить собственное же рабство. А теперь идите, и на глаза нам не показывайтесь! Помните: кто за ум не возьмет, вновь против нас повернет, или паскудство какое в деревне сотворит — ну там, народ обидит,

кусок хлеба у вдов-сирот отнимет — тому несдобровать! Сегодня же благодарите матерей своих, старых да детей малых за то, что жизнь вам даруем. Эй, ребята, завяжите им глаза покрепче да проводите!

После кровавой стычки в Узундарской балке, унесшей не один десяток жизней рьяных активистов, сигналахский ревком сильно призадумался и обратился за помощью к расквартированной здесь же, в уезде воинской части: в Тукурмиши стоял полк одиннадцатой армии. Дисциплина в полку хромала на обе ноги, потому как костлявая рука голода, свирепствовавшего по стране, все ближе подбиралась и к пришедшим из-за тридевяти земель солдатам. Но все-таки армия оставалась армией, и, ясное дело, стоило бы ей только захотеть — обретавшемуся в лесу отряду Чолокашвили пришлось бы туго.

Изнывавшие от безделья командиры, едва услышав просьбу здешних властей и получив приказ начальства, тут же развернули подразделения и от самого места стычки пошли по следу испарившихся отрядников. Перекрыли дороги, окружили разбросанные по Цивгомборскому хребту села; начались повальные обыски и аресты лиц, заподозренных в связях с мятежниками. Закопошились востроносые, зоркоглазые — только бы кому худо учинить! — доносчики. Смрадные ревкомовские подвалы в Сигнахи переполнились людьми. Редко когда различали правых и виноватых. На расследование да на установление истины ни у кого не было времени: все мешалось в одну кучу. По ночам из глубокого оврага, что с юго-востока подступал к Бодбийскому монастырю, доносилась частая ружейно-пулеметная стрельба. Там расстреливали ни в чем не повинных людей, потом хоронили в ими же вырытых могилах, освобождая таким образом используемые под острог подвалы, чтобы через пару дней набить их новыми арестованными, чья жизнь опять-таки должна была окончиться на дне братских безымянных могил.

Так продолжалось целых шесть дней. Отряд голодал. Съели все подчистую. Стало ясно, что ни в Кизики, ни даже во всей Кахети им не продержаться. Нужно было любой ценой прорвать окружение, проскочить в Телавский уезд и уже оттуда через Ахме-

ту либо двинуться к Панкисскому ущелью, где им могли помочь кунаки и кистины, либо же тианетскими гробами пробираться в Картли с тем, чтобы укрыться до времени в густых пшав-хевсуретских лесах.

Две ночи чолокашвилевцы провели в джугаанских виноградниках. Риск, конечно, был, но они верно рассчитали, что враг вряд ли отличит их от местных селян, а тем более предположит открытое появление повстанцев. Основные полковые силы, почти полтысячи человек, все еще рыскали в лесах Кизики, строго охраняя входы и выходы.

После того как милосердные крестьяне откормили-отпоили рассеянных по группкам изможденных отрядников, те стали понемногу приходить в себя. Ночная прохлада их особенно не донимала, но днем, когда солнце, застопорившись в зените, поливало землю раскаленными лучами, они не находили себе места среди прореженных рядов виноградника и только жадно хватали ртами воздух.

И все-таки враг что-то прочуял. Убили Элизбара Джандиери, прятавшегося в деревне. Случилось это, когда раненный в челюсть Элизбар, изнемогая от жары, вышел проветриться во двор. Тут его заметили неподалеку шаставшие патрульные, сдернули с плеч винтовки и без всякого предупреждения пристрелили. Три дня и три ночи труп лежал во дворе в полной неприкосновенности. Он служил приманкой для повстанцев, которые, по задумке красноармейцев, обязательно должны будут прийти за телом убитого товарища и, конечно, нарвутся на засаду.

Но в это время отряд был уже в Мачхаани, откуда довольно быстро переместился в Кисисхеви. Только на десятый день после случившегося Какуца и его друзья узнали о смерти преданного соратника. Эту печальную весть принесли им пробравшиеся по Арагвскому ущелью в Душети новые члены отряда.

— Царствие ему небесное! Доброй славы был человек, и жаль, что Родина оплакивает его в неурочный час! — произнес Какуца, безмерно опечаленный гибелью друга юности, трижды перекрестился и попросил рассказать о других, тбилисских событиях, Георгия Гвердцители, который-то и привел с собой в отряд пополнение.



А рассказывать действительно было о чем, К примеру, о том, как и где получил смертельное ранение душитель грузин, «спецназовский» сыщик из московского «чека» Шульман. Произошло это так: в руки чекистам попался товарищ Какуцы по гимназии, его политический единомышленник Сосо, он же Сосик Андроникашвили, которого без промедления, связанного, доставили в кабинет Шульмана.

— Выходит, зря мы Сосика с дюжиной парней в Матанском лесу поджидали... истомились все... эх, Бог ты мой! — прервал рассказ Георгия Гвердцители Какуца. Очередная новость сразила его окончательно. — Неужели гад какой-то предал?

— Конечно, предал! Но кто, по сей день не знаем. Из-за одного всех двенадцать не изведешь ведь?! Неизвестно, что там Шульман спрашивал, чего там Сосик отвечал или как ему руки удалось развязать?! Кроме них, в комнате никого не было, когда конвойные слышали за дверью странный шум и хрипение. Открыли двери, вбежали, и видят: сыщик на столе лежит, сверху Сосик навалился, голову подлецу запрокинул и в горло ему длиннющий ржавый гвоздь тычет... Шульман глаза закатил, беспомощно трепыхается и на помощь зовет...

— Молодчина, дорого же обошлась извергам его жизнь! — восторженно произнес Какуца и повлажневшими глазами обвел своих, не менее его самого восхищенных, соратников. — Что там говорить, представить другим Сосика Андроникашвили просто невымыслимо!

— Истинная правда! — подтвердили остальные. — Парень хоть куда! Видно, молоко материнское ему впрок пошло!

— Да погодите вы, дайте человеку договорить! — прорычал с головы до пят охваченный жаждой мести Ладо Озанели.

— Сосику вогнали в спину три пули. Когда этот здоровяк грохнулся на пол, дом весь аж затрясся, чуть не рухнул. Господи, Христос-Спаситель, Пресвятая Богородица, упокой его душу! — Георгий Гвердцители прислонил вороненый ствол карабина к колену и перекрестился. — Эх-ма, если такие сыны в

стране гибнут, кто же за этой страной приглядит в трудный час!

— А Шульман? — спросил Какуца изменившимся, приглушенным голосом, так, словно сию же минуту отправлялся сводить счеты с врагами.

— Отвезли в больницу. Выживет, наверное. Ему, гаду, если и суждено сдохнуть, то не иначе, как в крови нашей захлебнуться. Жаль, не дали Сосику дело до конца довершить.

В полночь — из опасения в иное время встретиться с какой-либо нечистью — отряд, не мешкая, снялся с места. В Цилкани всадники подняли с постели слегка перетрухнувшего протопопа, привели его в церковь и попросили отслужить молебен по Элизбару Джандиери и Сосику Андроникашвили. Мужчины зажгли поминальные свечи, преклонили колени, горячо помолились, а на рассвете арагвинскими прибрежными роцями вновь поскакали в горы.

Вскоре по Кахети пронесся слух, что Какуца выбрался из местных лесов, благополучно перемахнул через хребет и теперь скрывается близ Душети, откуда непременно поднимется в Хевсурети, где его считают своим. В тамошних теснинах враг, даже если бы его было в десять раз больше, не мог причинить чолокашвилевцам особого вреда.

Вместо тукурмишского батальона, в обязанности которого входил неусыпный контроль над обширной частью Кахети, тбилисский ревком сформировал новый отряд, более многочисленный и гораздо лучше вооруженный. В состав его вошли красноармейцы городского гарнизона, милиционеры и чекисты, съевшие собаку на крупномасштабных сыскных операциях. Полковнику Кайхосро Чолокашвили, или проще говоря Какуце, как его называли в народе, было над чем призадуматься. Правда, он, видный офицер царской армии, герой Сарыкамыша, обладал незаурядным военным опытом, и по части тактических хитростей мог в два счета обвести вокруг пальца простодушных красных новичков-командиров, подготовкой которых, видимо, не очень прилежно занимались в Баку. Так что семи-восемью сотням человек, по сути дела целому дивизиону, тоже следовало держать

нос по ветру и действовать с превеликой осторожностью, чтобы не сесть в лужу в очередной раз.

В начале августа, третьего дня, отряды преследователей уже стояли возле Жинвали. Бойцов привезли сюда на грузовиках и для переправки на другой берег Арагви высадили у Хидискури. Если Какуца все еще крутился в долинных селах, а основной курс оставался прежним — Хевсурети, то обогнуть Жинвали ему никак не удастся. По совету местных чекистов, наряду с другими представителями властей, сопровождавших дивизион и знавших каждый закуток ущелья как свои пять пальцев, по обеим сторонам реки устроили засады: таким образом, арагвинский перешеек был наглухо закрыт.

Дни проходили в напрасном ожидании, и командиры стали догадываться, что Какуца вновь их обгорил. Он, действительно, предвидел замысел врага, а потому после поминовения усопших товарищей в цилканской церкви одним махом преодолел узкое ущелье Арагви и разбил бивак подле Магароскари. Здесь к отряду примкнули новые члены: Багдуа Кахуашвили, Габо Озашвили, тайком писавший стихи дьякон Миха Хелашвили и Шалико Канделаки.

Месяц назад в пойменной роще Шалико наткнулся на какого-то чекиста. То ли тот охотился на турачей, то ли выискивал следы чолокашвилевцев, но как бы там ни было, поведение угрюмца в суконной гимнастерке не понравилось Шалико. Он стукнул его по темени, и с тех пор дорога домой для Канделаки была заказана. Впрочем, почти все дружинники Какуцы не ладили с властями, и если, не ровен час, кто-нибудь из них попался бы в руки карателям, его без суда и следствия прикончили бы на месте.

Еще в Душети Чолокашвили прослышал, что до прибытия подкрепления из столицы, а это, по предположениям составляло от пяти до десяти тысяч клинков, отряд душетской милиции в семьдесят-восемьдесят человек собирается подняться к Орцкали и перекрыть въезд в Хевсурети. В том случае, если Какуца не опережал милицию, он и его люди оказывались меж двух огней: ни вперед, ни назад дороги не было.

Орцкали, место слияния Хевсуретской и Пшавской Арагви, с точки зрения своего расположения яв-

лялось стратегически очень важным пунктом. С по-
крытой зеленым мхом крутой скалы, горделиво воз-
вышавшейся у излучины Арагви, прекрасно просмат-
ривались оба заречных ущелья. Двум-трем метким
стрелкам на вершине скалы, а тем более, пулеметчи-
ку не составило бы большого труда остановить и по-
вернуть вспять пусть даже добрую тысячу человек.

— Оглядеть надо место, разведать, может, там
чекистским духом пахнет. Незачем нам тогда голо-
ву в петлю совать! — сказал Какуца и отрядил в раз-
ведку нескольких крепких, выносливых ребят, назна-
чив им за главного Георгия Гвердцители.

Чолокашвилевцы разместились в приходской шко-
ле, что стояла на косогоре, зияя мрачными проемами
выбитых окон. По комнатам вовсю гулял ветер, но
он вряд ли беспокоил безбожно уставших от долгой
бессонницы, зычно посапывавших мужчин. Внизу, в
селе, петухи пропели по второму разу, когда кара-
ульный Багдуа Кахуашвили залязгал винтовочным
затвором и грозно гаркнул во всю мощь своих непро-
куренных, молодых легких: «Стой! Кто идет?» К от-
ветному «свои» кто-то присовокупил крепкую, соле-
ную шутку в адрес бдительного часового, и снова на-
ступила тишина, в которой только отчетливо слы-
шался однозвучный рокот стремительной Арагви.

«Своими», конечно же, оказались посланные в
Орцкали разведчики и трое хевсур из рода Чинчарау-
ли: вместе со старым знакомым Какуцы Абикой
пришли его соплеменники Апарека и Гоготур. Зара-
нее зная, что на днях ожидается приход Какуцы с
отрядом, Абика сповестил об этом большинство хев-
сурских сел. Апареку и Гоготура он представил ко-
мандиру как выразителей народной воли, защитников
общинных интересов. Апарека, с неизменной улыб-
кой на лице и открытым взором радостных глаз, был
еще очень молод. На подбородке и над верхней гу-
бой у него только-только начала пробиваться мягкая
шерстка. Парень смотрел на Какуцу с такой предан-
ностью, что, казалось, прикажи ему этот человек
прыгнуть со скалы, он бы, не раздумывая, выполнил
приказ и сиганул вниз.

Исполинского роста, чуть сутуловатый Гоготур
годился Апареке в отцы. Густая седина в волосах по-

жилого, но все еще крепкого горца, подчеркивала разницу в годах между обоими Чинчараули и, несмотря на это, хевсуры именно их отправили к Какуце своими представителями.

Высокий морщинистый лоб Гоготура, глубоко посаженные, спокойные глаза, степенные манеры сразу же вызывали к нему почтительное отношение и прозрачно намекали на какую-то непреходящую боль, неисцелимую рану в душе этого человека. Впечатление не обманывало: у Гоготура недавно убили сына Сулханаура, его первенца, его надежду и гордость. Убили случайно, по недоразумению, когда он, переодетый в кистинскую одежду, при оружии, как раз возвращался от кистинов. Сулханаур был парнем горячим, обид не прощал и по древнему обычаю предков за кровь платил кровью. Нередко в одиночку он наведывался к кистинам, на глазах у них расправлялся с обидчиком и преспокойно отбывал восвояси. В тот роковой день одетого в чужой наряд Сулханаура приняли за кистина-кровника, по чью-то душу прокравшегося в Хевсурети, и пустили ему вдогонку литой свинец...

Вся община искренними слезами оплакала и с почестями похоронила удальца. Своего незадачливого односельчанина, в запальчивой слепоте так неосторожно нажавшего курок винтовки, Сулханаур перед смертью простил, считая, что на все воля Божья.

На обоих посланниках были хевсурские рубахи с вышитыми на них крестами, у пояса висели кинжалы, за спиной — щиты и мечта каждого охотника — русские карабины.

— Какие, братья, вы принесли новости? — спросил Какуца после теплых приветствий.

— В Орцкали никого нет, — ответил за всех Георгий Гвердцители, ставя в угол свой карабин, ложе которого было покрыто затейливой вязью. — Заскочили туда на прошлой неделе душетские, тобой интересовались: никто тут, мол, из долины не появлялся?! А хевсуры — они там секретом стоят — в ответ ни гу-гу, ну и наверх, конечно, тоже не пустили.

— Это правда? — обратился Какуца к Гоготуру вовсе не для перепроверки донесения Георгия Гверд-

цители, а чтобы подбодрить хевсура и включить его в разговор.

— Точь-в-точь, так оно и есть... Бог свидетель, с величайшим благоговением в голосе, даже несколько не подобающим его солидному возрасту, ответил Гоготур. — Хевсуры робости не ведают. Головы сложим, но на свою землю никого не пустим!

— Так, так, Гоготур. А как же я? Я ведь к вам в гости собрался. Или вы меня в расчет серьезный не берете? — легонько надавал жару Какуца и распахнул лицо в широкой, обезоруживающей улыбке.

— Бог с тобой, Какуца! Ты же не чужой, ты наш, в твоих жилах хевсуркая кровь клокочет. Пращуры твои когда-то отсюда в Кахети переселились и там, в долине, большими господами стали. Твой прадед, Чолока, — светлая ему память! — дюжину басурманов в бою порубил. За это геройство наш царь его в князя произвел, село Матани и крепость тамошнюю пожаловал.


— И все-то тебе, Гоготур, известно! Столько даже я не знаю.

— Э, Какуца, мил человек, дай Бог другим с твоего знать! Ты только появишься у нас — ни в чем отказа не будет. И помни: Хевсурети — мать твоя родная! Пришло время послужить ей!

Горизонт начал слабо голубеть, когда где-то внизу резко громыхнул первый выстрел и эхом раскатился по ущелью. Чуть погодя грянуло еще несколько ружейных залпов, вслед за которыми в надрывном, безостановочном кашле зашелся станковый пулемет. Казалось, небо соскользнуло со своих опор и грузно рухнуло на землю.

Примостив в головах бурку, Какуца лежал на боку под яблоней в школьном дворе. Здесь же подремывали хевсуры, которые со времени своего прихода ни на шаг не отходили от храброго земляка, словно боялись, что его может отнять у них кто-либо другой.

Из заброшенного здания школы выбежали еще не вполне пробудившиеся ото сна отрядники и бросились к своим, заранее указанным командиром, местам у невысокой каменной ограды, которая окружала зеленую лужайку.



— Ах вы, голоштанники чертовы, ночью налетели!.. По-мужски драться кишка тонка!.. Ладно, с чем пожаловали, с тем и в обратный путь отправитесь. Сейчас мы вам пятки смажем!.. — громовым голосом ревел Ладо Озанели.

Опершись локтями на замшелый валун, что заснувшим великаном валялся посреди двора, Ладо посылал пулю за пулей в ту сторону, откуда доносилась наиболее частая стрельба. Неподалеку расположились все три хевсура. Стреляли они спокойно и размеренно. Горы научили людей бережливому обращению с боеприпасами. Не так уж легко все это им доставалось, и они не привыкли палить наобум. А что до меткости, то ее хевсурам было не занимать! В яблоню, под которой несколько минут назад лежал Какуца, угодила пуля. Сучковатая ветка громко хрустнула, обломилась и упала ему на плечо.

— Осторожно, Какуца! В тебя целятся, псы поганые! Заметили... — закричал Шалико Канделаки. По его одежде струилась кровь. Она капала вниз и густо окрашивала камни ограды. Не замечая крови, или же не придавая этому никакого значения, Шалико продолжал яростно отстреливаться.

Стрельба в ущелье стала постепенно стихать, а с рассветом, когда из тумана проросли макушки гор, прекратилась совсем. Первым заглох станковый пулемет на краю высокой скалы. Рядом с ним лежали бездыханные тела трех пулеметчиков, по очереди сменявших друг друга у гашетки и так же по очереди отдавших Богу душу. Одному из них пуля попала в горло, перерезала сонную артерию и вышла сквозь шею наружу, другому прошила лоб, оставив крохотную, с блошиный укус, красненькую точку, третьему разворотила левый бок. Все трое, похоже, в недавнем прошлом были солдатами. Подневольных служивых в них выдавали латаные рыжие гимнастерки с черными проплешинами пота на спине и такого же цвета, только поизряднее выцветшие, солдатские обмотки на ногах.

Стоило лишь последнему стрелку ткнуться головой в землю и захлебнуться дымившемся от частой стрельбы пулемету, как на скалу взобрался новобранец отряда, пшавский дьякон Миха Хелашви-

ли. Он огляделся по сторонам, убедился, что за ним никто не следит, обеими руками ухватился за ствол пулемета и, тихонько поругивая его создателей вкупе с пользователями, подтащил эту мерзотину к самой кромке скалы, а затем ногой толкнул вниз, в Арагви.

Согласно полученному приказу, карательная группа в семьдесят-восемьдесят человек, которая прямоком следовала к Орцкали, должна была опередить Какуцу и преградить ему дорогу в Хевсурети. В планы милиционеров и желторотых комсомольцев, по сути дела составлявших ядро группы, не входила преждевременная стычка с людьми Какуцы, но у Магароскари они неожиданно с ним столкнулись, завязался бой, и группа понесла чувствительные потери.

Чолокашвилевские отрядники, одержавшие верх в этом бою за счет более выгодной позиции, разоружили и взяли в плен два десятка человек, столько же, если не больше, погибло под пулями, остальные, кому повезло, отступили по лесному бездорожью назад.

Какуца выстроил пленных недалеко от охваченного пламенем, полусгоревшего дощатого здания школы, прошелся перед ними, остановился возле седого, в кожаной тужурке мужчины лет сорока и угрюмо спросил:

— А где же вы оставили армию русских?

В глухом бессилии мужчина молча перекатывал на щеках крупные желваки. Вместо него ответил молоденький милиционер, ровесник Апареки:

— В Жинвали... Подкрепления ожидают.

— Какое им еще, к черту, подкрепление надо?! Семи-восьми сотен недостаточно?

— Больше! Но в ущелье не суются, боятся, как бы грузины ловушку не подстроили. А вы кто будете? Который здесь Какуца?

— Нет, вы только взгляните: откуда это такой смельчак выискался?! Слово не в плену, а в Чаргали у тещи на блинах!

— Прикуси язык, парень!.. Ведь это сам Какуца! — одергивая молодого милиционера, зашикали такие же, как он, разоруженные мужики, которые-то и сами с трудом верили, что собственными глазами ви-

дят перед собой Какуцу Чолокашвили, своего заклятого врага. Случись все наоборот, они не пощадили бы его ни под каким видом. И все же... И все же в глубине души каждый из них гордился тем, что этот статный, красивый человек, в жилах которого протекала и маленькая частичка их крови, мог один противостоятъ десяти, с горсткой своих людей наводить ужас на целую армию.

Молодой милиционер, все еще слабо веря услышанному, бухнулся Какуце в ноги:

— Коли они не врут, и ты вправду Какуца Чолокашвили, прими меня в свой отряд! Преданней никого не сыщешь. Сапоги чистить буду, в огонь и в воду пойду, жизнь за тебя отдам!

Отрядники весело загоготали. От души рассмеялся и Какуца:

— О чем он толкует? Вставай, вставай, негоже так в преданности мне клясться! Может быть, еще кого-нибудь из вас мучает совесть, и он хотел бы перейти на нашу сторону?

Никто из пленных не проронил ни слова.

— Так, значит, совесть никого не мучает, и вы предпочитаете получить пулю в лоб, чем раскаиваться в грехах?! Кто среди вас главный?

Небритый мужчина в комиссарской потрепанной кожаной тужурке, пятью минутами ранее не удостоивший Какуцу ответа, теперь поднял на него полные ненависти глаза и с нескрываемой злобой произнес:

— Какая тебе разница, кто старший, кто младший? Все равно, раз уж попались — живыми отсюда не выберемся. Не тяни, прикажи расстрелять, пока наши не подоспели. А то потом сам о дощаде молить будешь!

Какуца нахмурился, помедлил и спокойно, но не без едва уловимого напряжения в голосе, сказал:

— Я на вас облаву не устраивал, это вы пришли с нами разделаться, да, слава Богу, на сей раз не вышло. Что вам надо? Зачем и нашу, и свою кровь льете? Ступайте и скажите тем, кто вас послал: если им жизнь дорога, пусть сюда носа не кажут, не вводят нас в новый грех. И так крови полно! Неужели земли мало в бескрайней России? Ехали бы к своему двору да поднимали его с Божьей помощью, так нет

же, — как мухи на мед сюда лезут! — Христиане мы, крестом себя осеняем, и видит Бог, крови не хотим. Мы никому не угрожаем и счеты ни с кем не сводим, а просто защищаем отцовскую землю, потому-то каждый камень, каждая былинка на этой земле с нами заодно, а не с вами! Сам знаешь, что тебе полагается за такие слова, но я не хочу дать воли гневу и пустить по миру твою несчастную семью. Как привел, так и уводи отсюда это овечье стадо, да побыстрее, пока я не передумал. Какуца Чолокашвили не злыдень какой-то, не кровопийца, но знай: ежели судьба еще раз сведет нас — пеняй на себя!

Казалось, все идет к замирению и кровь соплеменников больше не окропит землю, как вдруг комиссар распахнул кожаную тужурку, выхватил из за пояса галифе припрятанный браунинг и выстрелом в упор сразил наповал продолжавшего стоять на коленях молодого милиционера. Тотчас же разразилась ружейная пальба, и через минуту, когда рассеялся дым, на том месте, где только что с тайным облегчением переминались пленные, в луже крови, от которой поднимался горячий пар, лежала груда мертвых тел. Остекленевшие глаза комиссара смотрели в далекое небо, лицо застыло в каком-то странном просительном выражении, словно бы он, уже неживой, молил о снисхождении к себе хотя бы за то, что не посмел выстрелить в Какуцу.

— Что ж ты натворил, лихом вскормленный, грешная твоя душа! — в сердцах произнес дьякен Миха Хелашвили, перекрестился, подобрал обшмыганные полы короткой, выше щиколоток, лиялой рясы, опустился на колени возле убитого и, высвободив пистолет из окоченевших пальцев, сунул его в глубокий карман своей хламиды. — Да помилует тебя Всевышний! Аминь!

Конечно же, следовало ожидать, что те, кто унесли ноги и живыми добрались до Жинвали, не сегодня-завтра вернутся в ущелье с еще более многочисленными силами. Положение чолокашвилевцев, среди которых было немало раненых, не способных передвигаться без посторонней помощи, становилось крайне тяжелым.

Чтобы обсудить положение, принять окончатель-

ное решение и наметить командирам боевые задачи, огорченный Какуца созвал военный совет. На нем с обстоятельной, разумной речью выступил Гоготур. По его мнению, нужно было поскорее уходить отсюда в Орцкали. В начале августа, пятого числа, вся Хевсурети должна была собраться в Хахмати на празднование Дня Хахматской Иконы, и именно здесь старейшины, переговоры с которыми брали на себя Гоготур и Апарека, могли оповестить народ о нависшей над ним огромной опасности. Гоготур уверял, что хевсуры, как во времена Ираклия и Давида, выставят, по крайней мере, семьсот-восемьсот бойцов.

Строго говоря, этого было мало. Вряд ли такое войско смогло бы противостоять впятеро, а то и больше, превосходившим его по численности натасканным регулярным армейским частям.

— Бог нас не выдаст, Какуца, — закончил свою речь Гоготур. — С нами правда, а придется — погибнем все до единого, но за Орцкали врага не пропустим.

Миху Хелашвили, как уроженца здешних мест, знавшего каждую тропку, отправили следить за передвижениями противника. Вместе с ним в путь снарядили Габо Озашвили, Кимбара и Багдуа Кахуашвили, наказав незамедлительно сообщать в лагерь любую мало-мальски важную новость.

Хорошо устроенная круговая оборона Орцкали сулила чолокашвилевцам существенную двойную выгоду: на неопределенный срок тормозилось продвижение солдат, а эта задержка позволяла собраться как можно большему количеству хевсур, вооружиться и ударить по неприятелю объединенными силами.

Какуцу вместе с ближайшими соратниками — Сашей Сулханишвили, Баадуром Бадурашвили, Георгием Гвердцители, Шалико Канделаки — Гоготур поселил в доме своего безвременно погибшего сына Сулханаура. Невестку и внучат старый хевсур забрал к себе, а Какуце и его друзьям, двое из которых, раненые Гвердцители и Канделаки, нуждались в особом уходе, предоставил полную свободу действий.

С приглашением на празднества в Хахмати к Какуце пожаловали старейшины общины. Самый старейший из них, надвое переломленный в пояснице Име-

да, по старинному грузинскому обычаю поцеловал Какуцу в правое плечо и сказал:

— Ты, Какуца, молодец! Землю свою пуще жизни любишь, и народ тебя любит! А все потому, что ты нашенских кровей!..

— Что, Имеда, неужто в других краях перевелись смельчаки и защитники отечества? — со смехом спросил командир и обнял старика, по которому много-много лет тому назад, когда он был крепким, здоровым юношей, наверняка, вздыхала не одна красавица.

— И в других краях сыщутся, как же, — довольный сыновьим вниманием Какуцы, согласился Имеда и тут же неуступчиво добавил: — Но наши все-таки особенные!

Какуца вежливо отказался от участия в хахматских престольных торжествах, поскольку, ожидая вестей о противнике, не мог ступить шагу из дому. Но и сбидеть гордых, степенных общинников было нельзя, поэтому он послал в Хахмати девять своих лучших парней, дабы хевсуры не чувствовали его отсутствия и без уныния состязались с достойными соперниками. Отрядники не ударили лицом в грязь. Они метко стреляли, а после застолья под столетними липами у развалин хахматской церкви отличились и в джигитовке. Словом, хозяева со спокойным и радостным сердцем вручили гостям-победителям заслуженные награды. Среди множества кубков и чаш особым изяществом выделялись сработанные местными искусниками, украшенные чернью туры рога.

Отрядники пустились в обратный путь вечером, когда околицу села заполонил бубенцовый звон возвращавшейся с пастбищ скотины. Между тем, шестью семью часами ранее, где-то около полудня, новые донесения о намерениях русских частей доставил Какуце Багдуа Кахуашвили, который вместе с дьяконом Михой Хелашвили следил за каждым их шагом в жинвальских предместьях.

Оборотистый дьячок приложил уйму стараний, чтобы со своим ломаным русским выудить нужные сведения у бывшего матроса, пришедшего, по его словам, в деревню за солью. — Мы тут, — откровенничал бывший матрос, размякший от крепкой хелашвилев-

ской водки, — долго не задержимся. Пусть только два грузинских батальона подоспеют из Душети, да полк вазианский, да гаубичная батарея, — мы тотчас с якоря снимемся и поплывем к ущелью, где этот лапотник-князь, атаман ваш хваленый Какуца окопался... Вот тогда поглядим, как он справится с русским штыком... Ему, кстати, ни одна сила в целом мире перечить не смеет!

Известие было, конечно, весьма важным, хотя исходило оно от человека третьестепенного ранга, который многого попросту не знал. Не исключалась и вероятность того, что словоохотливый бывший матрос явился в деревню вовсе не за солью, а по наущению пройдошной большевистской контрразведки как раз для распространения заведомо ложных слухов.

Неоспоримым и ясным представлялось только одно: неприятель, несмотря на недавнюю неудачу в Магароскари, вновь сосредоточил свои главные силы у входа в ущелье. Он не спешил разворачивать боевые действия и ожидал пополнения, в то время как надежды повстанцев на какую-либо ощутимую помощь извне постепенно убывали.

На празднике в Хахмати старейшины общин пообещали через два-три дня вооружить и начать сбор своих людей в условленном месте. Однако, при всем их желании, вопреки расчетам Гоготура, созванное войско не могло достичь такого количества ополченцев, которое бы вселяло веру в успех.

— Мало нас, братья, мало, — обратился Какуца к вожакам хевсур, когда они по его зову пришли к дому Сулханаура. — Видать, удача от нас отвернулась, отказал Бог в милости! Если бы там только одни русские были — еще куда ни шло! Но сколько среди них наших затесалось!.. Озлоблены они сейчас, особенно после Магароскари, местные стежки-дорожки не хуже нашего знают... Словом, коль не выстоим, не удержим Орцкали — несдобровать нам. Ни женщин, ни детей не пощадят, на штыки поднимут, свободу нашу в крови потопят...

— Мудрый ты человек, Какуца, не нам тебя учить, — нарушил минутное молчание Гоготур, заметно возвышавшийся над сбившимися вокруг него стариками с палками в руках. — Плох тот хевсур, у ко-

торого в доме дорогого гостя убивают. Я вот что своим худым умишком мыслю: гонцов к кистицам надо послать, подмоги у них попросить. А, что скажете? Русские у нас не станут засиживаться, за кистинов тоже примутся...

— Да ты в своем уме, Гоготур?! — удивленно зашумели хевсуры. — Забыл, бедняга, что на нас кистинская кровь? Забыл, как Сулханаур мулле ихнему голову струбил, и здесь, вон на той горе закопал?

— Да нет, таксе не забудешь!

— Чего же ты тогда зря языком чешешь, головы людям дуришь? Мы тебя за серьезного человека принимали, а ты таксе городишь!.. Не подможники нам кистины... Неужели они, по-твоему, недоумки какие-то? Где это видано, чтсбы кровник кровнику пособлял да еще в драку за него лез?!

— Не подможники, значит?! Ну, это еще посмотрим! — пробасил Гоготур, крутой скальной громадой отделился от своих пошибленных временем сверстников и аршинными шагами прирожденного горца направился к перелазу в ивняковом плетне, за которым находилась его усадьба с домом. От неожиданности все оцепенели. Никто не понял, что за тайный смысл скрывался в словах Гоготура, произнесенных им с такой же решительностью, с какой он поспешил к своему дому, словно где-то там хранился заветный амулет: надень его — и все невзгоды отступят прочь.

Минут через пять Гоготур вернулся. Правой рукой он прижимал к груди двух, по-голубиному ворковавших малышей. Младшему из них, мальчику, появившемуся на свет в год гибели отца и названному его же именем, было около трех лет. Девочка казалась не намного старше. Гоготур вытащил из-под мышкы пестротканый хевсурский хурджин, швырнул его Какуце под ноги и сказал:

— Вот, Какуца, мои внуки. Кроме этих двух птенцов, у меня никого не осталось. Посади их в этот хурджин и отправь с кем-нибудь к нашим кровникам-кистицам... Пусть скажут им, чьи это дети.. Тогда они, наверняка поверят, что без подвоха, без злого умысла мы их зовем!..

У старейшин на минуту-другую пропал дар речи, настолько неслыханно жертвенным было решение

Гоготура. Простой человеческий язык искал и не находил подходящих слов.

Маленькие сироты Сулханаура, которым было невдомек все происходившее вокруг, ластились к любимому деду, тянули его за седую бороду, хлопали ладошками по выгоревшему, изборожденному морщинами лицу, тыкали пальчонки в заросшие щетинкой уши, норовя взгромоздиться на дедовскую, недоступную, как горная вершина, шею.

У Гоготура редко когда выпадала свободная минута повозиться с внучатами. После гибели сына все заботы об осиротевшей семье легли на его уже немолодые плечи, и он молча, как мог, волочил этот нелегкий гуж. Но сейчас деду было не до забав и самозабвенных ребячьих ласк совсем по другой причине: каждой клеточкой своего напрягшегося существа Гоготур ждал решения Какуцы Чолокашвили — человека, который в эту роковую минуту виделся всем хевсурам единственным спасителем Родины.

— Да как тебе такое в голову взбрело, Гоготур! — раньше других опомнился Какуца и, потянувшись обеими руками к детям, сначала забрал у деда притихшего мальчугана, а затем поставил рядом с ним на землю и девчушку. — Этими ангелочками жертвовать! Гнева Божьего не боишься?.. Достаточно того, что кистины прослышат об этой истории. Не время сейчас старые распри вспоминать и мстить друг другу. И у кистинов, и у нас одна беда в двери ломится! Они это чувствуют, и не думаю, чтобы наши гонцы ни с чем воротились... А их немедля пошлем...

Ближе к полуночи, по перевальным тропам, спускавшимся в Пирикитскую Хевсурети, в матовом свете полной луны мелкой рысью ехали шестеро вооруженных всадников. В группу парламентаров, которым Какуца поручил вести переговоры с кистинами, вошли его доверенные и наиболее опытные в таком деле люди. Они спешили в Шатели, где собирались провести остаток ночи, а наутро, помянув Всевышнего, продолжить путь. Беда стояла у порога. Чтобы отвлечь ее, Какуца призывал кистинов сообща ударить по врагу.

Перевод Вахтанга БУАЧИДЗЕ





Арчил II

(1647—1713)

НРАВЫ ГРУЗИИ

(Отрывки)

Тому почет, кто тайну чтя,
Хранит ее вернее стали.
Не веруй в ложь и сам не лги
Ни понарошку, ни в запале.
Хвалящий подлости свои
Всегда у честности в опале.
О нем с презреньем говорят
Как о мерзавце и бахвале.

О знатности наскучил бред.
Кичливый дурень, прочь отсюда!
И созерцателя, клянусь,
Стошнит от такого блюда.
А коль слова не вразумят,
То плети вылечат от зуда.
Садись-ка рядом, весельчак,
Твои остроты просто чудо!

Напрасный труд пытаться скрыть,
Каков ты есть на самом деле.
Свеча во мгле всегда видна,
Пусть даже светит еле-еле.
Живи, как требует сей миг,
Дабы достигь заветной цели.
Да вразумит тебя мой стих,
Как вразумлял других доселе!

Пред мудростью ничтожно все.
Она — советчик и подмога.
Лишь на ее ветвях всегда



Плодов необычайно много.
Срывай любой, собравшись в путь,
И станет радостной дорога.
Лишь с ней одной войдешь, почив,
В предел небесного чертога.

Не смерти нашей алчет бес —
Мечтает заразить пороком.
К его советам интерес
Доверчивым выходит боком.
Увы, не внемлите вы мне,
А лишь коситесь глупым оком.
Коль я, по-вашему, не прав,
Сразите в диспуте жестоком.

Всесильна к ближнему любовь.
Ей предначертано и ныне
Заблудший разум просветлять
И усмирять огонь гордыни.
Немее лжец, ее познав,
И молит вслух о благостыне.
Юнцу не даст она пропасть
В житейской мерзостной пустыне.

Пред Божьим наказаньем страх
Ум тверже делает, поверьте.
Иначе станет он лукав
И помыкать им будут черти.
Защита разума — Господь.
Всевышнему его доверьте,
Чтобы Мамоне не служить,
Сгибаясь, до самой смерти.

Живи лишь правдою одной.
В любом обмане нету прока.
Туда, где добрые дела,
Беги от злобы и порока.
И не трещи на всех углах
О бескорыстье, как сорока.
Господь к ответу призовет —
И ты расквасишься жестоко.

Перевод Георгия АШКИНАДЗЕ



Для семи голосов и жаворонка

РОМАН

Глава пятая. СМЕРТЬ ПОЭТА

Город походил на дракона, у которого не было ни начала, ни конца. Дракон бился в судорогах, не давая людям, обитавшим на его шершавом теле, вырваться на свободу, и они с отвращением смотрели друг другу в глаза... Так подумала Лела Гудушаури, едва появившись в городе и глянув с высоты на огромное чудище. На женщине было пестрое цветастое платье, пестрые цветастые носки и чувяки, голову покрывала черная косынка, и, стоя рядом с сыном, она походила на чужеземку или даже инопланетянку, без спроса ворвавшуюся в чуждый мир. Сын очень хотел, чтобы город понравился матери, она же думала о том, что и одного дня не сможет прожить здесь, что завтра же, или в крайнем случае послезавтра, как только сумеет, уедет отсюда, отправится в свое Чалаури. Как можно прокормить такую ораву людей? — думала женщина, разглядывая сновавших взад и вперед прохожих. Сын словно извинялся смущенно перед людьми и смотрел на мать со снисходительной усмешкой, мечтая о минуте, когда они наконец придут домой, и мать устроится, пообвыкнет в новой обстановке. Разве мог он знать, что едва ступив на городскую землю, мать тут же стала тосковать о Чалаури, мысль о нем никогда уже не оставит ее. Чалаури навсегда останется ее болью и горем, в мечтах о нем проведет она здесь долгие годы, пока, в конце концов, не встанет на дорогу, ведущую в Чалаури. Еще не знала этого и женщина. Если б знала, закричала на весь белый свет и немедленно возвратилась обратно. Скажи ей кто-нибудь из сновавших вокруг прохожих, что это неизбежно случится, жен-

Продолжение. Начало см. в № 4—5.

щина назвала бы его сумасшедшим, отпрянула бы в испуге. Пока еще все впереди, и эта одетая в платье из пестрого ситчика, прокаленная солнцем Лела Гудушаури верила, что в ее жизни начинается сказка, у которой, как у любой сказки, будет счастливый конец. Завтра же, если не завтра, то в крайнем случае через два-три дня, Лела Гудушаури вновь вернется в свое Чалаури и будет со смехом вспоминать об этом городе, лихорадочно мечущемся у ее ног, подобно дракону.

— Вот наш дом, — сказал сын.

Лела Гудушаури, очнувшись от дум, огляделась. Ей улыбалась невестка, за нею стоял внук, маленький хорошенький мальчик.

— Ради него я и привез тебя, мама, ты должна сделать из него человека...

Но Лела Гудушаури уже ничего не слышала. Сжатое четырьмя стенами пространство, в котором невозможно свободно повернуться, в ее представлении никак не могло называться домом. Дом — это нечто другое, то, что осталось в Чалаури, над чем сейчас, возможно, льется дождь, и он плачет, до глубины души пораженный предательством хозяйки.

Нет, Лела Гудушаури не могла оставаться тут. Пусть другие живут здесь и будут счастливы. Наверное, они действительно любят друг друга, жить друг без друга не могут. Наверное, Лела Гудушаури ошибочно вычитала в их глазах отвращение. Не могли же они, на самом деле, существовать без любви! Иначе какая сила способна была собрать вместе такое огромное скопище народа?

Женщина стояла, не отводя глаз от чужих ей невестки и внука. Сыну так хотелось, чтобы она улыбнулась им! У нее такая чудесная улыбка — он помнил это. Но невестке свекровь казалась хмурой и отчужденной, холодной и недоступной. Что же касается мальчика... Мальчик пока что ни о чем не думал. А женщина все стояла, строгая, не улыбкающая, словно не к сыну приехала, а к кому-то чужому и постороннему. Впрочем, сын и похож был на постороннего. Это уже не был тот парнишка, который запросто поднимался в Чалаури, и с его приходом оживало все окрест. Перед матерью стоял низкорослый сутулящийся мужчина, почему-то напоминавший больного, и женщине только и

оставалось сказать: простите, пожалуйста, я попала не к своему сыну, а в незнакомый дом, я сейчас уйду обратно, и ноги моей больше здесь не будет.

Не смогла она уйти.

Осталась, и если бы, многие годы спустя, когда она заняла свое место среди семерки на берегу реки, кто-нибудь спросил, как это произошло, почему и из-за чего, она не смогла бы ничего сказать в ответ. Все произошло само собой. Видать, этот город, напомнивший Леле Гудушаури дракона, и впрямь захватывал людей и уже больше не отпускал от себя. Порою, задумавшись о том, почему она осталась в городе, Лела Гудушаури считала причиной все же внука, который связал ее по рукам и ногам, и тогда она с гордостью смотрела на него, как смотрит творец на свое создание, если сумел в нем, хоть в малой мере, воплотить и выразить то, что задумал, над чем бился годами.

Да, Заза Гудушаури вырос красивым парнем.

В семье Гудушаури все жили как бы сами по себе. Все в ней было как полагалось. Никто не повышал голоса, все любили и почитали друг друга, бабушка выказывала уважение всем остальным и наоборот. Но глава семьи был сам по себе, мать — сама по себе. А бабушка — та на самом деле жила отрешенно, отгородившись от всех невидимой стеной, уйдя в собственные раздумья, словно находилась не на таком-то этаже многоэтажного городского дома, а шла по дороге, ведущей в Чалаури, все шла и шла, и тропинка не кончалась, Чалаури отодвигалось все дальше, и женщина могла так и помереть, не добравшись до него. Города и впрямь для нее не существовало, он жил сам по себе, а Лела Гудушаури — сама по себе. Была только тропинка, ведущая в Чалаури, которая брала начало в этом аду и никогда, никогда не кончалась. Была тропинка, и была весна. Год проходил в ожидании весны. Лела Гудушаури знала, что соберется в Чалаури непременно весной. Весной, когда все изменится — как изменялось там, в далеком Чалаури, когда с гор сходили лавины, снег начинал таять и кукушки перекликались друг с другом. Однако проходила весна за весной, а женщина, запертая в четырех стенах, ничего не замечала. Потом еще один год кончался в томительном ожидании новой весны, но она, придя тихо и непри-

метно, подобно предыдущей, ничего нового не привнесла в жизнь женщины. Только тогда ощутила страх Лела Гудушаури, только тогда осознала, что этот огромный город, а то и весь мир, пытаются раздавить ее, расплющить, не отпустить от себя, только тогда поняла, что много еще весен пройдет, прежде чем, в конце концов, доведется ей ступить на тропу, нарисованную воображением. Лела Гудушаури твердо верила, что рано или поздно она ступит на эту тропу.

В городе поначалу ее узнавали по одежде: на женщине было связанное собственными руками грубое, но разукрашенное красивым шитьем платье. Именно это платье выделяло ее в толпе, и люди потом долго провожали ее взглядом, а некоторые, даже не стесняясь, останавливали, долго разглядывали самодельное грубошерстное платье и удалялись потом, не сказав ни слова, как будто женщина обязана была стоять и демонстрировать какой-нибудь любопытствующей даме платье собственной вязки. Нашли чему дивиться, платья не видели, что ли? — думала она удивленно, но своего наряда, тем не менее, не меняла. Об этом платье жены друзей ее сына говаривали: «Подлинный образец народного искусства!» А потом ее разыскал какой-то тощий долговязый художник и сказал, что собирает предметы горского обихода — половики, ковры, переметные сумки, вязаные носки... Может, уступите, если есть, с удовольствием куплю и медные кувшины... Увидев платье Лелы Гудушаури, он прямо с ума сошел: продайте да продайте, но женщина решительно отказалась. Фольклорист Бердиа Гудушаури, сын Лелы, с извиняющейся улыбкой проводил художника. Затем появился еще один, мы, мол, устраиваем этнографическую выставку, не могли бы одолжить платье недели на две... Однако и ему пришлось уйти ни с чем. Наконец пожаловали и с телевидения, усадим, говорят, Лелу Гудушаури на часок в машину, вывезем за город, снимем на фоне гор и сразу же привезем обратно. Но женщина заперлась в ванной и не вышла, пока не выпроводили непрошенных гостей. После ухода посетителей набросилась на сына с невесткой: что вы меня превратили в посмешище на весь мир, неужто люди впрямь ничего другого не видели? Всему городу до моего платья дело есть! После этого о платье боль-

ше не говорили. Видать, из-за него весь город сна лишился, подумала Лела Гудушаури, и навеки забыла об этом пестром платье, связанном собственными руками. Она стала ходить в темных одеждах, подаренных невесткой. С того дня о Леле Гудушаури в городе почти не вспоминали. Она и во двор стала спускаться (хотя там соседи встретили ее с удивлением, и она испугалась, как бы опять не стали разглядывать да расспрашивать, почему, мол, переоделась), и на улицу выходила, но никто на нее даже не оглянулся. Огонек любопытства погас, любознательность города, вместе с тем платьем, оказалась запертой в пропахшем нафталином ящике. Уж теперь-то я наконец отдохну, подумала тогда невестка и навсегда выбросила из головы все мысли о платье. Но Лелу Гудушаури нельзя было называть легковерной женщиной. Прости Господи, но именно невестке доверяла она меньше всего, хотя та клялась и божилась, что любит и уважает свекровь как родную мать. Сама Лела каждый Божий день подходила, крадучись, к гардеробу, осторожно приоткрывала пропахший непонятным запахом ящик и успокаивалась лишь тогда, когда убеждалась, что пестрое вязаное платье, единственная вещь, еще соединявшая ее с далеким и ставшим теперь совершенно недостижимым Чалаури, находилось здесь, на своем месте, что никуда оно не исчезло. Лела Гудушаури в самом деле боялась, что оно могло исчезнуть само по себе, эта вера сохранилась у нее еще из Чалаури. Подобные поверья бытовали именно в горах, и женщина всерьез опасалась, что, может быть, в одну темную ночь это пестрое домотканое платье из Чалаури выберется из ящика и, никого не спрося, удерет туда, откуда его привезли силой, вопреки собственной воле и желанию. В этих раздумьях платье уже существовало как бы само по себе, из запертой в ящике платяного шкафа вещи превращалось в живое существо, способное принять очертания хозяйкиной фигуры и по собственной воле отправиться обратно в Чалаури.

Невестка, разумеется, не верила во всю эту мистическую чепуху, потому была спокойна. Если ее тревожило что-то, то скорее потусторонние видения ее мужа, которые изредка посещали его, заставляя замереть на месте, там, где они его застали, и которые неведо-

мым образом делали отца ближе и понятнее подростку и повзрослевшему Зазе Гудушаури.

Детство осталось позади, и Заза теперь не мог бы даже с уверенностью сказать, любовью или жалостью было то чувство, что он испытывал к отцу. Разумеется, в отрочестве из этих двух чувств верх брало первое. Жалость возникла позднее, когда он увидел отца таким, каким тот был на самом деле. Это случилось в тот день, когда юный Гудушаури вышел на улицу и, дожидаясь автобуса, разглядывал кучку людей, собравшихся возле пекарни. Здесь выпекали круглый грузинский хлеб. Очевидно, его не хватало всем желающим, и потому возле пекарни вечно толпился народ. Стоял пасмурный декабрьский вечер. Мелкий дождик окутал все окрест завесой тоски и грусти. Казалось, что туман затаился где-то поблизости и вот-вот лениво выплывет из-за угла, чтобы подчинить своей воле прохожих и дома, голые деревья и заляпаные грязью машины. Люди сгрудились возле пекарни, и скорее всего взгляд Зазы Гудушаури так ни на чем не остановился бы, если бы парень не заметил в этой кучке собственного отца. Да, точно, это был он, чуточку сутулый, съжившийся от холода, худой и испуганный. Только отец мог стоять так, нахохлившись и оглядываясь вокруг, словно ощущал какую-то тяжкую вину не только перед этими людьми, но и целым светом, словно хотел попросить прощения разом у всех.

Какая-то сила заставила тогда остановиться Зазу Гудушаури, и он не сел в подъехавший автобус. Спроси его кто-нибудь, он не смог бы объяснить, что собирался делать, почему пропустил автобус и стал следить за отцом, который в эту минуту уже был не отцом, а просто чужим человеком, весьма колоритной личностью, наблюдать за которым было почему-то очень важно для юноши, начитавшегося романтических книг. Этот незнакомец не походил ни на кого вокруг. Казалось, он ничем не выделялся — ни внешностью, ни одеждой, и тем не менее никто не был одет так, как он, да и вообще он казался выше всех окружающих на целую голову, хоть и глядел на всех снизу вверх. Дождь поливал всех и все окрест, и тем не менее фетровая шляпа с обвисшими полями и серый плащ этого человека намокли больше, чем у остальных. Другие суетились,



волновались, сетовали на небеса и на землю, жаловались на водителей и хлебопеков, и только этот человек стоял спокойно, словно ему было все равно, намочит дождь или нет его поношенный плащ, скоро ли выпечется свежий хлеб, сможет ли он вовремя принести домой хлеб, где (юноша знал это) его ожидают с таким нетерпением. Тогда и захотелось Зазе подойти к этому чужому, странному человеку и сказать:

— Здравствуйте, я возьму хлеб для вас.

Конечно, он не стал подходить и этих слов не произнес. Зато в его голове мелькнула мысль, вселив жалость к этому взъерошенному, худому и жалкому человеку, который был его отцом. Если кому-нибудь из толпы не достанется хлеба, это непременно будет отец... Именно в эту минуту вынесли свежее испеченный хлеб.

Люди сгрудились у входа в лавку. Отец, или тот незнакомец, скрылся из глаз, но потом вновь появился. Обрадованные люди расходились, держа в руках горячие ароматные лепешки. Только человек, бывший отцом молодого Гудушаури, стоял отдельно ото всех с пустыми руками, растерянный и удивленный...

Мальчик разозлился, вскочил в подъехавший автобус и уехал.

В тот день Заза Гудушаури впервые по-настоящему увидел отца. Впервые осмелился отметить хоть какой-то отцовский недостаток, впервые огляделся вокруг и попытался взглянуть на отца объективным взглядом человека, вступившего из детства в пору юности.

Да, Бердия Гудушаури был стеснительным человеком. Он стеснялся всего на свете. Так, заглядывая в профессорскую, словно опасался, как бы кто-нибудь не прикрикнул на него — ты, мол, куда суешься? В детстве отец запомнился мальчику постоянно улыбающимся. Он был для него всем на свете. Только потом, осмотревшемуся в мире младшему Гудушаури показалось, нет, не показалось, а с полной ясностью увиделось, что отец повсюду оказывался ни с чем, оставался не солоно хлебавши. Даже на родительском собрании, где громче всех остальных шумела и грозила всему свету мать Гочи Кереселидзе, хотя, если трезво взглянуть на вещи, сама по себе она никем не была, простая домохозяйка, сидевшая дома целые дни и обжиравшаяся от безделья, отец, университетский до-

цент, сидел скромно за самой последней партой, изредка роняя слово-другое, да и то, если его о чем-то спрашивали.

Вскоре Заза Гудушаури подрос и уже разобрался во всем, узнал, как спустился отец в город из дальнего горного селения, как поступил в вуз, как стал кандидатом наук, несмотря на то, что многочисленные недруги и завистники мешали ему. Если бы не они (это уже было материнское заявление), он давно уже стал доктором, хотя, добавляла мать, неверно винить во всем лишь завистников, он сам был порядочным рохлей, боялся всего на свете и полагал, что брошенная ему, словно обглоданная кость с обильного стола, зарплата — это Бог знает какие деньги.

Заза был уже студентом филологического факультета и знал понемногу обо всем, хотя ни о чем — глубоко и основательно. Его жизнь по большей части проходила вне дома, а домой он приходил, как в гости. С бабушкой он виделся уже ближе к полуночи, не раньше, и, перекинувшись парой слов, тут же исчезал. Но главным оставался все же отец. Мысль о нем наполняла мальчика каким-то неприятным предчувствием.

Иногда посреди ночи отец вставал с постели и потихоньку выходил из своей комнаты. Однако никакие предосторожности не могли обмануть бдительного уха супруги. И она тотчас будила сына: поднимайся, отец спустился во двор, последи за ним издали, как бы не нарвался на кого-нибудь... Мальчик, разумеется, не очень охотно покидал теплую постель, но сохранившееся уважение к отцу все же заставляло его подняться. Он вставал, одевался и, крадучись, следовал за отцом, одновременно вслушиваясь в спящую, безлюдную улицу, где никого, кроме них двоих, не было.

Только однажды наткнулись они на ночного постового, медленно похаживавшего по улице.

— Чего бродишь? — строго спросил милиционер парня.

— Видишь того человека? Это мой отец.

— А он чего бродит? Пьяный?

— Нет, не пьяный, просто так ходит.

— Ненормальные вы оба, — проговорил милиционер и, опасливо оглядываясь, удалился, словно позади и впрямь оставались психи.



Тут отец нагнал их.

— Здравствуйте, уважаемый...

Милиционер остановился в растерянности. Милиционером стоял обыкновенный и, с точки зрения милиционера, вполне достойный уважения человек.

Отец обнял Зазу за плечи и сказал постовому:

— Чудесная ночь, не правда ли?

Милиционер ничего не понимал. Но на всякий случай кивнул, а потом долго провожал взглядом отца с сыном, направлявшихся домой.

Странная и не вполне понятная мальчику история произошла, когда отец сказал, что на неделю его посылают читать лекции в телавский институт. Мать обрадовалась, в Телави климат здоровый, да и гостиница неплохая, пусть едет... Потом она решила отправиться с ним вместе, но отец решительно отверг предложение жены. Она не обиделась. Чужим людям, тем более, если они не знают о его странности или, возможно даже, заболевании, могло показаться не совсем удобным, что лектор, приехавший читать в другой город лекции, привез с собой жену. Только бабушка сказала слова, на которые тогда никто не обратил особого внимания. Но отец, услышав их (Заза теперь явственно вспоминает это), вздрогнул:

— Если окажешься в Чалаури, поцелуй за меня тамошнюю землю.

Ничего необыкновенного в бабушкиных словах, конечно, не было, поскольку она была убеждена, что каждый человек, хоть на день покидающий город, отправлялся в Чалаури или, по крайней мере, должен был проехать мимо него. Невестка даже посмеялась: скажешь тоже, где Телави, а где Чалаури! Этим весь разговор и закончился, поскольку отец не терпел никаких размолвок, особенно, когда человека провожают в дальний путь.

Спустя два дня позвонили из института справиться о состоянии здоровья доцента. Мать заволновалась. Отцовский приятель, тоже доцент, Иорамашвили сказал, что ничего не слышал о его командировке в Телави. Мать все же попыталась успокоить себя: знаю ведь его характер, он мог уехать, ничего не сказав даже ближайшим друзьям... Возможно, она этим и удовлетворилась бы, если бы тот же приятель не предложил: прове-

рить все легче легкого, давайте позвоним на кафедру... Завкафедрой не оказалось на месте, а лаборантка ничего не могла сказать о командировке доцента Бердия Гудушаури в телавский пединститут. Завкафедрой, которого они попытались разыскать, тоже не оказалось в городе. Наверняка вместе и уехали, — решили они для собственного успокоения, приписав все серьезному характеру и замкнутой натуре Бердия Гудушаури. Потом все тот же приятель сообразил: закажем телефонный разговор с Телави! Часа через два долгожданный звонок наконец прозвенел, и чей-то голос, доносившийся словно из отдаленной Галактики, сообщил встревоженному семейству Гудушаури, что такого лектора никто не приглашал и вообще не ждал в институте.

Тогда-то бабушка и произнесла слова, запомнившиеся на этот раз всем:

— Скорее всего он в Чалаури...

Жена, потеряв терпение, крикнула:

— Чего вы пристали со своим Чалаури! Только и слышишь: Чалаури и Чалаури!..

Старая женщина, словно пропустив эти слова мимо ушей, вновь так же спокойно, как и в первый раз, проговорила:

— Он, наверное, в Чалаури...

Два дня прошли в томительном ожидании. На третий день отец объявился. Он долго стоял перед дверью, как провинившийся школьник в ожидании выволочки, не зная даже, проведали уже о его проступке или нет. Но в его взгляде было нечто потаенно-торжествующее. И как ни старался скрыть свои чувства отец, конечно же, не сумел. Он стоял перед дверью, вымаливая прощение или сочувствие. Его взгляд медленно переходил от жены к сыну, от сына к матери, постепенно определяя, что тайна, мучавшая или радовавшая его в эту минуту, уже не была для них тайной. Сын жалел отца, но не знал, что предпринять, чтобы как-нибудь нарушить это тягостное для отца молчание. Он так ничего не смог придумать. Перед растерянным и измученным отцовским лицом просто невозможно было изображать показное веселье и беззаботность.

— Как прошли лекции? — спросила жена.

Отец окончательно убедился, что всем уже известно обо всем. Он привык, что другие великолепно умели

сохранять свои делишки в секрете, а ему это никогда не удавалось даже в малейшем пустяке.

И тогда он сказал:

— Я был в Чалаури...

Бабушка молча заплакала.

Отец скрылся в своей комнате.

Долго не просыхали слезы на глазах старой женщины. Она стояла неподвижно перед комнатой сына, словно ожидая, когда он расскажет ей о Чалаури, а она, не отрываясь, будет слушать. Мальчик подошел и обнял бабушку, застывшую перед дверью. Осмелев, она шепнула внуку:

— Говорила же я, он в Чалаури ездил...

В глазах младшего Гудушаури это неведомое Чалаури окуталось еще большим покровом мистики и таинственности. Отец, отдалявшийся от всех с каждым днем, вдруг сорвался и удрал тайком в свое недостижимое Чалаури. Что ему там надо было? Да и что это вообще за Чалаури? Существовало ли оно на самом деле или это был просто вымысел, сказка?.. Ездил ли он действительно в Чалаури или и это выдумал? А если ездил, то что привез с собой, почему отправился тайком, никому не сказав, что собрался именно туда, в Чалаури? Все эти вопросы как бы незаметно и таинственно прокрались в отцовскую комнату, донесли до него все, что мучило мальчика. Тогда отец позвал к себе своего единственного сына и наследника, решив все рассказать ему. Мальчик стоял посреди комнаты, смущенно опустив голову, тот самый мальчик, который всегда был таким дерзким и раскованным, с кем вместе они ходили встречать весну, лето, осень и зиму, вместе озорничали, веселились, шутили и радовались. Но сейчас он сумел лишь смущенно и запинаясь проговорить:

— Чалаури — не вымысел. Оно существует на самом деле и будет существовать, пока живет и существует род человеческий.

Чалаури — это все: наша память, воспоминания, все, что было до нас.

Пока мы помним о Чалаури, можем ничего не страшиться.

Даже самой смерти...

У всех есть свое Чалаури, каждый смертный родом из Чалаури.



Мы живем спокойно и беззаботно, даже не вспоминая, что вышли из Чалаури, это — в пору юности.

Но это время быстро проходит... И тогда вдруг со всей остротой вспоминаем, что, есть где-то Чалаури, откуда мы родом.

Проходят годы, стремление вернуться в это Чалаури становится все сильнее.

Состарившись, готовясь распрощаться с бранным миром, мы ищем в Чалаури спасения.

И в конце концов все, без исключения, хоть мысленно, в мечтах, непременно возвращаемся в свое Чалаури. Вот оно какое...

Сын молча удалился из комнаты.

За дверью по-прежнему стояла и плакала бабушка.

— Про Чалаури он ничего не рассказывал, сынок?

— Ничего...

— А я боюсь сама спросить...

— Сейчас не нужно, спросишь потом.

Слезы текли по ее щекам.

— Когда же потом?..

Мальчик вышел в лоджию. Только там он надеялся найти спасение в эту минуту. Включил магнитофон. Какой-то парень пел по-английски: «Бранный мир так смешон...»

Зимой Бердия Гудушаури скончался. Когда об этом сообщили сыну, он просто не понял, о чем ему говорят. Сознание словно помутилось, и, думая о завтрашнем дне, мальчик представлял не то, как принесут накрытый крышкой гроб и положат в него отца, а вспоминал давнюю картину встречи с зимой: вот они идут по заснеженному лесу и прыгающие с ветки на ветку белочки осыпают их снежной порошей, вот они перекликаются в полном безмолвии, вот обнаруживают неожиданную базилику пятого века с древней надписью, вот разводят костер, приглашая погреться нахохлившихся на морозе птичек...

Мальчик боялся встречи с мертвым отцом, он все бы отдал, чтобы исчезнуть на время из дома и вернуться лишь тогда, когда в квартире снова воцарится привычная тишина, и он сможет обманывать сам себя, будто отец по-прежнему заперся в своей комнате, читая Важа Пшавела, или отправился в свое Чалаури.

Но бегство было невозможно, и Заза Гудушаури неподвижно стоял возле открытой двери.

Когда гроб выносили из дома, к дверям притулилась бабушка, высохшая, сгорбленная, убитая горем Лела Гудушаури, одетая в то самое собственноручно связанное платье, которое некогда запомнил весь город. Бабушка спокойно опиралась на палку, словно происходившее касалось не ее сына, а кого-то постороннего. Только когда гроб сносили по лестнице, она окликнула внука и тихо спросила:

— В Чалаури несут его, сынок?

— Да, бабушка, — ответил мальчик.

Когда он спустился по лестнице, его догнал бабушкин голос:

— Чего же тогда плакать, разве и мне не предстоит идти в Чалаури?

— Зайди домой, бабушка, — крикнул мальчик.

Бабушка вошла в дом.

* * *

Лела Гудушаури, бабушка этого юноши, оказалась женщиной крепкой, как камень. Словно и впрямь проводила сына в Чалаури, разогнулась во весь рост и отбросила раз и навсегда свалившееся на нее горе. Сперва одолела город, отомстила разом всем своим обидчикам. И вскоре эту высокую, темнолицую, сухощавую и упрямую женщину уже узнавали в булочной, гастрономе, овощной лавке, на рынке и в поликлинике, в аптеке и на почте. Мясники зазывали ее без очереди и выбирали лучшие куски, аптекарь выдавал лекарства без рецепта. С чего мне бояться их, пусть они боятся меня, — сказала сама себе Лела Гудушаури. Но тем не менее бередящее душу или даже мистическое стремление когда-нибудь возвратиться в Чалаури ни на мгновение не утихало в ее душе, более того, вся жизнь превратилась в подготовку к этому заветному дню, который непременно должен наступить, и тогда Лела Гудушаури окончательно покинет эти опостылевшие четыре стены на шестом этаже.

Заза Гудушаури со страхом ожидал наступления весны. Близился момент, когда бабушка должна была окончательно сорваться с места и отправиться в Чалаури. Мальчик знал, что это так же неотвратимо, как и

приход весны. Но ему не было известно, каким именно окажется этот день, как бабушка отправится в путь, одна или с кем-нибудь вместе (с кем?), тайно или не скрываясь, благословляя их на прощание или кляня. Он боялся этого дня и, вольно или невольно, не спускал с бабушки глаз. С опасливым вниманием следил он за каждым ее шагом. Но вот весна пришла. Ветки единственного дерева перед домом покрылись почками. Женщины сбросили с себя шубы. Однако бабушка, казалось, ничего не замечала, ни этого дерева, ни люда, высыпавшего на улицы города. Заза Гудушаури увидел в бабушкином равнодушии хитроумный замысел: она выжидает момент, когда сможет одна, без чужих глаз, встать и отправиться в это свое Чалаури, исчезнуть так же внезапно, как появилась в этом городе (или в этой семье), оставив после себя лишь обрывочные воспоминания.

Все стало окончательно ясно, когда глухой ночью бабушка потихоньку подошла к его кровати и сказала:

— Теперь уже пора, сынок.

— Пора — что?

— Пора уходить и забрать с собой... твоего отца... туда в Чалаури.

Мальчик подскочил. Долго смотрел на бабушку, потом вновь бросился ничком на постель и тихо проговорил:

— Это невозможно.

— Почему?

— Здесь — город... Здесь так не делают.

— А где делают?

— Не знаю... Но здесь — нет!

— Тогда мы никогда не сможем увести его...

— Да, бабушка, никогда. Выбрось это из головы.


— Для чего же тогда я живу?

— Иди, бабушка, ложись спать. Видишь — весь город спит.

— Разве смогу я заснуть?

— Иди, бабушка, спи...

Заза Гудушаури не знал, как проводила его бабушка бессонные ночи, как прислушивалась к спящему городу, как боролась с собой, чтобы не встать с постели и не выйти на улицу, не отдавая себе отчета, куда и зачем она идет. Кто-то неведомый не давал ей за-



снуть, шепча на ухо: — Иди, пока город спит, разбуди парня, выройте из земли останки покойного и на рассвете вынесите из города, чтобы никто ничего не заметил. Но город все никак не засыпал. Наступала напряженная, чуткая тишина, но уже через мгновение ее нарушал грохот промчавшегося по улице грузовика. Потом все снова замирало, но на этот раз кто-то с шумом принимался вызывать кого-то, заводил во весь голос песню, и ночь отступала куда-то, выжидая, пока в городе вновь воцарится настоящее ночное безмолвие, и бабушка снова думала: теперь-то ночь уже наступила окончательно, можно будить внука и отправляться в дорогу. Вот — разбудила! Но не так-то легко оказалось уйти... Старая женщина билась в четырех стенах, подобно зверю, насильно привезенному из леса и посаженному под замок.

На следующий день бабушку одолевали различные мысли. Для нее история уже взяла начало — сына отняли, и теперь не было силы, способной удержать ее на месте. Вначале она зашла в комнату невестки и долго разглядывала ее. Она нечасто заходила сюда, и невестка догадалась, что у нее что-то было на уме, что-то собиралась сказать, разрушив установившееся в этой семье показное спокойствие и снова начав все сначала.

— Я должна взять его с собой... в Чалаури.

Невестка ничего не поняла.

— Я должна забрать сына с собой в Чалаури...

Невестка поднялась, накинула на плечи шаль и пошла к окну.

— Что еще за глупость ты выдумала?!

Женщина обиделась:

— Почему глупость?

— Еще и этого позора человеку не хватало...

Бабушка повернулась и вышла из комнаты.

Кто-то посоветовал ей обратиться в исполком. Но там ее даже слушать не стали, приняли за помешанную и сочувственно, но твердо выпроводили прочь, велев больше сюда с этим делом не соваться. Тот же самый советчик послал ее в милицию. В милиции какой-то красивый и вежливый молодой человек пригласил ее в комнату, усадил на стул и терпеливо стал объяснять: что ты, мать, разве наше это дело, что случилось, то случилось, скажем, заберешь ты с собой туда сына, по-

может это ему? Теперь ему вообще ничем не поможешь. А у нас своих дел поверх головы, ни ночью, покоя не знаем, ни днем, вот только вчера две квартиры ограбили, у троих женщин, подкараулив в безлюдных местах, сорвали с рук драгоценные кольца и браслеты, а один шестидесятилетний чудака — ни с женою, вроде бы, не ругался, ни с детьми в ссоре не был и зарплату имел неплохую, и на работе ценили — взял и выпрыгнул с восьмого этажа, покончил с собой.

Старуха от жалости аж задрожала:

— Несчастный...

Бабушка узнала то, о чем прежде и не догадывалась: этот громадный город-дракон по ночам не спал мертвецким сном, а в нем происходили тысячи всяких событий — насильничали и мошенничали, грабили и убивали, и этого красивого парня утомило бесконечное преследование преступников. Бабушка пожалела его и сказала: пойду своей дорогой, больше моей ноги здесь не будет.

На другой день она отправилась в церковь.

Церковь была заполнена девушками и юношами. Неужели люди моего возраста перестали верить в Бога? — подумала она, притулившись прямо у входа. Священник что-то бубнил скороговоркой, но бабушка не могла разобрать слова. Молодежь шумела, переговаривалась, пересмеивалась. — Сейчас выйдет тот самый молодой красивый поп, которого мы вчера видели, — предупредила подругу какая-то девушка. Бабушка застеснялась и стала протискиваться к алтарю. Там, впереди, тоже стояли девушки и парни, но кое-где среди них видны были молящиеся; кто-то склонился перед иконами, кто-то зажигал свечи. — Дайте свечку и мне, — попросила бабушка женщину, стоявшую рядом. Та ткнула куда-то пальцем, — мол, дареную свечу зажигать грех, вот там в углу их продают, иди и купи... Старуха протолкалась, купила три свечи и спросила, где их надо поставить?

Смотря на чье имя ставишь, ответили ей. За упокой души любимого сына и за здоровье внука, объяснила она, чтобы жить ему многие лета. В таком случае, одну свечу следует зажечь перед той иконой, а две — в другом углу, научила женщина. Старуха сделала так, как ей подсказали, и подумала: а на душе и впрямь по-

легчало... Священник по-прежнему читал молитву, но его никто не слушал. Наконец он замолчал и стал помахивать взад-вперед чашечкой, которая висела через руку на золотой цепочке. По церкви разнесся приятный аромат. — Это миро, — шепнул кто-то старухе на ухо. Запах делался все сильнее, и когда хор грянул: «Многа-а-я лета-а-а!» и церковные своды откликнулись гулким эхом, старуха подумала: я и завтра приду сюда...

Народ стал расходиться, церковь опустела. Только две старушки сидели на скамье в темном углу и о чем-то еле слышно шептались. Только сейчас смогла бабушка оглядеться вокруг. С высокой арки на нее смотрели всевидящие очи Всевышнего. Вот кто поймет мои муки, — подумала она. На другой стене было изображено распятие, и бабушка почувствовала жалость к висевшему на кресте Христу. Горе матери твоей! — подумала она, направляясь к другой фреске. Господи, если ты есть где-нибудь, просвети душу сына моего! Тут растворились испещренные золотой чеканкой ворота и появились священники. Старуха выбрала среди них самого молодого, чернобородого и черноглазого и встала рядом.

Молодой священник, не оглядываясь, продолжал негромко разговаривать с другим попом, по виду чуть его старше.

Прямо вылитый Христос, явившийся на землю, только ему смогу я рассказать обо всем, — подумала старуха и, склонив голову, остановилась перед священником.

Молодой пастырь улыбнулся.

Старуха оглядывалась по сторонам, и он догадался, что эта высохшая, растерянная женщина хочет поведать ему что-то наедине.

Служка снова отворил позолоченные ворота, и бабушка осталась с глазу на глаз с этим молоденьким, похожим на распятого Христа священником.

Старуха тихо проговорила:

— Вы, верно, знаете; сын у меня умер...

Священнослужитель растерялся.

— Здесь его схоронили. Весь город пришел на похороны. Тебя, случайно, там не было? Может, при тебе они не помешали бы забрать его туда!

— Куда вы хотели забрать его?

— В Чалаури... Туда, наверх, в горы... Я хочу теперь взять его туда, но все противятся.

— Пусть вас это не волнует, матушка.

— Как то есть не волнует?

— Дух его уже на небесах. Смерть — это отделение духа от плоти...

Старуха стояла, глядя на молодого священника.

Потом нагнулась, чтобы встать на колени.

Молодой поп поднял ее и поцеловал в лоб.

Бабушку била дрожь.

— Как ты прекрасен! Словно тот, распятый на кресте... И глаза точно такие же...

Старуха протянула руку к Всевышнему, взиравшему на них с арки.

Священник опустил голову.

— Нам, смертным, с ним равняться грех.

Старуха долго разглядывала лик на иконе, потом молодого попа и вдруг улыбнулась:

— Знаешь, на кого еще ты похож?

— На кого, матушка?

— На внука моего...

Священник тоже рассмеялся и сказал:

— Все мы дети Господни...

* * *

Из церкви она возвращалась умиротворенная. Всю дорогу думала о том молодом священнике, так походившем на Христа и на ее внука Зазу. Больше всего ее успокаивали слова о том, что душа ее сына теперь уже в небесах. Разве не в небесах и Чалаури? — подумала она, ускоряя шаг. Значит, его душа отправилась в Чалаури. Здесь остались только кости и ничего больше. Подумав это, старуха тотчас сказала сама себе: пора и мне отправляться в Чалаури, да поскорее.

Вернувшись домой, она все рассказала внуку.

Рассказала и о том, как походил батюшка на него, особенно небритого.

Мальчик рассмеялся.

Бабушка глядела на него и думала: он не обиделся... Да и с чего было обижаться?

Внук попросил, чтобы она не уходила так часто из дома. Бабушка огорчилась: кому какое дело, уйду я или останусь здесь? Впрочем, теперь уже недолго ждать,

все, пора отправляться в Чалаури. И тогда внук сказал то, из-за чего бабушка вновь не смогла заснуть целую ночь и что на следующий день заставило, поднявшись пораньше, отправиться на рынок.

— А вдруг уже и самого Чалаури больше нет?

— Нет больше Чалаури?!

— Может, все ушли оттуда...

— Куда им было идти?

— Мне-то откуда знать, мир велик.

— Оттуда никто не уходит!

— А мы ведь ушли.

— Нет больше Чалаури! Как у тебя язык повернулся сказать такое...

Рынок бурлил, шумел и волновался. Усатый курд катил набитую ящиками тачку, крича: «Хабарда! Хабарда!» Что это еще за «хабарда», подумала бабушка, но тут кто-то оттолкнул ее: отойди от греха, мать, видишь, как он мчится, с ног сбить может!

Бабушка размышляла о том, откуда, с какой стороны лучше начать, чтобы все обойти, подробно осмотреть все прилавки и расспросить, нет ли здесь кого из Чалаури? Впрочем, для чего спрашивать, она и так с первого взгляда любого чалаурца узнает...

Сначала она прошла по ряду мацонщиков и тихо спросила: чалаурского мацони нет ли у кого случайно? Женщины переглянулись, стали узнавать, у кого может оказаться чалаурское мацони? Что это за Чалаури? — удивлялись они. — В первый раз о нем слышим! Говорят, где-то в горах затерялось село с таким названием... Ну кому с тех гор придет в голову спускаться сейчас, пока еще и весна как следует не наступила... Затем бабушка свернула туда, где продавался сыр. Сыром торговали азербайджанцы, которые толком не могли и понять, чего надо было этой старухе. Дальше выставили свой товар мукомолы, но и здесь не оказалось не только ни одного чалаурца, но и такого, кому было известно такое название. Не знаем, извинились продавцы муки, не видели и не слышали о твоём Чалаури. Потом она обошла прилавков с гранатами. Их продавали азербайджанцы и армяне, и бабушка поняла, что спрашивать их о Чалаури бессмысленно. Она обошла картофельный ряд, — здесь уж кто-то должен попасться, чалаурскую картошку всякий знает. Но и

там ее встретили торговцы из Армении и Азербайджана. Только одна женщина смахивала на грузинку, и бабушка подошла к ней. Но и та про Чалаури-ведать не ведала. О таком селе и не слыхивала, — извинилась она и тут же спросила: а картошка не нужна? Старуха картошку покупать не собиралась, ей нужно было найти кого-нибудь из Чалаури, и в рыночном гвалте и суматохе она громко проговорила: может, и впрямь нет больше на свете Чалаури? Может, мой внук говорит правду? Может, Чалаури исчезло с лица земли, и все чалаурцы разбежались кто куда? Она прислонилась к бетонному столбу, чтобы перевести дух. Прямо напротив столба маленькая сухонькая старуха, закутанная в черный платок, продавала яблоки. Если кто будет знать про Чалаури, только она, — подумала бабушка, в противном случае, видно, и впрямь исчезло оно бесследно, вымерло, и никому больше нет до него дела!.. Она подошла к продрогшей старушке.

— Чалаури? — старушка тоже в первый раз слышала это слово и, не отводя глаз, смотрела на ту, которой понадобилось разузнать о нем. Потом взяла одно красное яблоко и протянула бабушке: — На, освежи горло.

Бабушка покачала головой.

— Бери...

В сердце бабушки что-то оборвалось: «Она приняла меня за попрошайку».

Повернувшись к старухе спиной, торопливо пошла прочь, как бы та вдогонку еще чего-нибудь не крикнула.

* * *

Чалаури для двадцатилетнего Зазы Гудушаури было чем-то абстрактным и нереальным, о чем постоянно вспоминал отец, а сейчас вспоминает бабушка, мать же при любом упоминании о нем подчеркнуто громко повторяет одно и то же: — Господи, только Чалаури у них на уме, если кто услышит, решит, что они оба с ума посходили, кто поверит, что здесь, в столице, на шестом этаже четырнадцатипятиэтажного дома только и слышно: Чалаури да Чалаури...

Мальчику это слово ничего не говорило, оставаясь лишь знаком уважения к памяти отца, который, в свою

очередь, сам с каждым днем становился все более далеким и расплывчатым. Заза уже не испытывал смущения, когда из их квартиры раздавалось девичье хихиканье, громкий хохот парней и вопли зарубежных певцов. Подобные звуки доносились из всех квартир, и соседи не могли жаловаться друг на друга. Эти звуки делали далекое и нереальное Чалаури как бы вообще несуществующим или, по крайней мере, отодвигали куда-то в такую непроглядную тьму, что извлечь его оттуда не могла никакая сила.

Все началось опять-таки глухой ночью. До Зазы Гудушаури сначала донесся скрип кровати, потом — стук двери. Юноша лежал, напряженно ожидая того, что еще должно было неизбежно произойти. Он изучал филологию и уже достаточно хорошо разбирался в законах композиции, прекрасно знал: если постоянно повторяется одно и то же слово, это не может быть просто так. Слово не может оставаться примерзшим к одному месту. Оно — живет, двигается, начинается и развивается, куда-то уходит и возвращается вновь. Таким было и Чалаури. В один прекрасный день оно неотвратимо сорвется с места, не желая довольствоваться тем, что оно лишь слово и ничего больше. Слово должно претвориться в действие. Так думал Заза Гудушаури, напряженно вслушиваясь в тишину, когда в его комнату вошла бабушка, совсем как в тот раз, подошла к постели, посмотрела на внука широко раскрытыми глазами и сказала:

— Тс-с-с... Тихо!

Мальчик забеспокоился.

— Что случилось?

— Ты ничего не слышал?

— Машина проехала мимо...

— Нет, это воют волки.

Парень поднялся с кровати, взял за руку бабушку, одетую в белую рубаху, и сказал:

— Идем, бабушка, ложись...

— Ты думаешь, мне почудилось?

— Нет, не думаю...

— Знаю, в душе так и думаешь.

— Почудилось, бабушка... Ты задремала, а тут проехала машина. Это завывала машина...

— Уж это я не спутаю.



— Ложись и засыпай. То была машина.

— Выли волки! Взошли на взгорок и завыли.

— Спи, бабушка.

— Они всегда в это время воют, в полночь... На луну злятся.

Мальчик отвел бабушку в ее комнату, помог лечь и прошептал:

— Спокойной ночи.

Бабушка откликнулась из темноты:

— Спи, за меня не бойся, я, как собака, ничего сомной не случится. Если опять станут выть, я не испугаюсь...

— Не станут.

Лела Гудушаури замерла, в ожидании сна, но дремота не брала ее, и бабушка была рада, потому что боялась возвращения того сна, который снился ей, если не каждой ночью, то через ночь уж непременно. Он всегда завершался одинаково. Лела Гудушаури никак не могла избавиться от наваждения, и именно это заставило ее принять решение: в конце концов, нужно превратить сон в явь, так как, по ее убеждению, явное и реально существующее не могло быть таким устрашающим, как ожидание. Сон был всегда одним и тем же, одинаково начинался и, главное, одинаково заканчивался. Незначительные различия или несущественные перестановки значения не имели. Лела Гудушаури опять направлялась в Чалаури, где жила когда-то и где была (теперь она в этом глубоко убеждена) по-настоящему счастлива. В Чалаури все поджидало ее точно таким, как прежде: тот же самый дом, та же изгородь, та же дорога, только выглядело все это холодным, чужим и недоступным. Женщина бродила по пустырю, искала знакомые лица, пыталась найти то, что издали представлялось счастьем, но нигде не могла обнаружить. Все выглядело враждебным и незнакомым, а затем начинался тот ужас, который заставлял бабушку каждый раз с шумом вскакивать с кровати, вызывая гнев и раздражение невестки в другой комнате: смеркалось (сумерки были неизбежным концом этого сновидения), старуха ходила от двора к двору, но нигде ей не открывали двери, она звала, но никто не откликался на ее зов. Деревня вымерла, или, если вообще еще существовала, оставалась глухой и слепой. В конце кон-

цов бабушка подходила к своему старому подворью, но и там ее ожидало горькое разочарование. Она не могла толкнуть калитку и войти во двор. Женщине за-прещалось отворять собственную дверь. Она страдала, мучилась, хотела закричать, но изо рта не вырывалось ни одного звука, хотела зарыдать, но слезы из глаз не лились... Наконец, она принималась звать какого-то незнакомо-го мужчину, слепого и оцепеневшего, и сквозь этот крик до нее доносился голос внука:

— Бабушка, проснись, бабушка...

Потом он вернулся к себе, погасил свет.

Попытался заснуть.

Не смог.

Он лежал и чего-то ждал.

Ожидание длилось недолго.

Бабушка тихо отворила дверь комнаты.

На ней было ее пестрое платье, то самое, в котором она приехала в город. И на голове была та же самая косынка. Да, время отправляться в путь настало, и бабушка сказала:

— Я в Чалаури иду, сынок...

Мальчик поднялся и подошел к ней.

Она заплакала.

Мальчик обнял ее за плечи:

— Остайся, завтра уйдем вместе.

Бабушка отерла слезы и твердо сказала:

— Смотри, не обмани меня.

— Не обману...

Из дома они вышли на рассвете, мать стояла в дверях. Она ничего не сказала. Все было ясно без слов. «Мистические видения» обрели ноги и отправились в путь, в Чалаури.

* * *

Картина на речном берегу теперь уже насчитывала шестерых персонажей.

Хмурый Абриа Махаури.

Девочка, вырвавшаяся из леса.

Напуганная, постоянно озирающаяся по сторонам мать Гарсо со своими двумя быками.

Сорока-Пело, которая все бежит, суетится, не может ни минуты усидеть на месте, и благодаря ей вся

эта неподвижная картина колыхается, изменяет композицию, оживает.

И наконец еще двое: худощавая, высокая старуха с лицом, изборожденным морщинами, и ее внук, парень лет двадцати, Заза Гудушаури.

Боже, как он красив, — думает девушка, глядя на парня.

— Здравствуйте, — говорит Лела Гудушаури и становится прямо перед девушкой.

Еще немного и появится тот, седьмой...

Глава шестая. ОСЕЛ

Все произошло, словно во сне: разом, не переведя дыхания, как будто не существовало ни времени, ни места, где все это произошло... До того жизнь мальчика по имени Гела текла размеренно и однообразно. У мальчика был осел, которого он очень любил. Осел тоже любил мальчика, и над их, мальчика и осла, взаимоприязнью потешалась вся деревня, да что там деревня, весь свет... Поначалу помирали со смеху, увидев осла, хотя ничего смешного в нем не было. Стоило ему появиться где-нибудь, как вся деревня высыпала из домов, а если, не приведи Господь, ему что-то взбредет в голову и он заревет, тут уж покатывался весь свет. Смеялись, если он, рассердившись, двинет кого копытом или выбежит на дорогу и погонится за проходящей мимо ослицей — точно так и для того, как и зачем гонятся друг за другом люди, если уж приспичит, — тут уж все прямо с ума сходили, тут уж поистине весь белый свет глаз не отводил, вместо того, чтобы отвернуться, сделать вид, что ничего не замечают, тем более, что случалось-то это с ослом в кои веки, вместо того, чтобы посчитать, что, как живому существу, Господь-Бог и ослу даровал эту естественную потребность.

Как после этого было не погрузнеть, как не погрузиться в размышления, мучительно понимая, что и эти грустные глаза, и эта задумчивость выглядели смешными, что люди посчитают их никчемными и неумест-

ными, из-за чего осел впрямь заслуживал насмешек и ничего больше.

Вот когда надо было посмотреть на Гелу: когда он, взгромоздившись на своего четырехногого дружка, разъезжал по деревенской дороге с таким горделивым видом, будто Молла Насреддин, направляющийся в Бухару. Вот когда уж действительно все поголовно выбежали из домов. А владелец осла, не обращая никакого внимания, восседал на нем гордо и прямо, в залатанных штанах и распахнутой до пупа белой рубахе, босой, растрепанный и такой же черный, как его осел; шествовал, не обращая внимания на гудки и грохот машин и мечтая лишь об одном, чтобы осел, как это с ним случилось, застыл назло всем этим автомобилистам посреди дороги, и посмотрим тогда, что они станут делать...

Но осел своего упрямства не выявлял, слушался своего владельца, резво трусил куда надо с горделивым наездником на спине. Только раз или два замирал он на месте, и его никакими силами невозможно было сдвинуть с места, да никто и не знал, из-за чего, кроме мальчика... Из-за чего? Да из-за того, конечно, что и осел — существо живое, а тут, за изгородью, стояла та, чей вид наполнял все его существо неизъяснимым томлением. Там, за изгородью, находилась представительница его племени и выглядела так бесстыдно, так вызывающе, что никакая сила не могла сдвинуть с места нашего осла. Впрочем, не нашего, а Гелиного, конечно. Тогда мальчик впервые поколотил его прутом, но безрезультатно — тот стоял неподвижно, словно прут колотил не по его спине, а по камню, валявшемуся на обочине. Только раз или два дрогнул он, раз или два дернул задней ногой, да и то, чтобы мальчик понял, что колотил на самом деле не придорожный камень, а его, осла. И мальчик понял: переломил прут надвое, отвернулся от людей (случись это ночью, он, может, и заплакал бы), громко проговорил: раз так торчи здесь, сколько пожелаешь, мне до тебя больше дела нет, — бросил его посреди дороги, а сам пешком отправился домой. Но стоило ему скрыться с глаз, осел как будто опомнился, страсть, сковавшая ему ноги посреди дороги на потеху всему свету, разом погасла, веревка, казавшаяся неодолимой, мгновенно лопнула.

словно сгнившая труха, и осел почувствовал освобождение. И именно тогда случилось то, что случилось: народ стал потешаться над сбросившим оцепенение ослом еще больше, чем когда он торчал, окаменев и не в силах двинуться с места, и пока он, пристыженный и растерянный, с криком догонял хозяина, его неотступно преследовал хохот всей деревни, для которой такая обыденная и обычная под солнцем вещь — подумает, бегущий по дороге осел! — стала поводом для безудержного веселья.

Смех этот злил Гелу, внушал мысль, не очень-то свойственную его сверстникам: он обвинял всю деревню в том, что она не понимает самых простых вещей, разве ж сможет она, в таком случае, догадаться что значил для мальчика его осел, как с ним было легко и просто, как помогал он ему во всех делах, касающихся только их двоих, мальчика и осла; но достаточно было появиться кому-то третьему, постороннему, как все летело кувырком, становилось с ног на голову, кем бы этот третий ни был, пусть даже отцом мальчика, соседом или родственником.

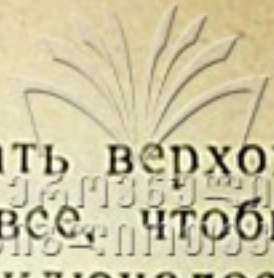
Наверное, все большое и значительное начинается с малого, и для мальчика деревня, вся округа, да, в конце концов, и весь мир начинались с этого осла. Разумеется, он никому не мог сказать об этом, и прежде всего потому, что прекрасно знал — никто его не поймет. Но ведь сам он в глубине души был убежден, что это так и было. Мальчику часто случалось уезжать и в город, и еще дальше, он неизменно тосковал по родным местам, по своей деревне, и все — деревня и округа — начиналось с мысли о его осле. И если он принимался рисовать в воображении собственный дом и подворье, или балкон с резными балясинами, или изгородь в конце двора, то под изгородью, прямо возле калитки непременно стоял этот осел, погруженный в раздумья и ожидание. Если же вспоминалась сельская дорога, то, конечно, на ней также обязательно оказывался и осел, и он сам верхом на осле, или, в крайнем случае, его дед. Ну а когда на воображаемом рисунке появлялся виноградник, подернутый осенней желтизной, с обобранными ветвями, разграбленный и опустошенный, то с краю, под развесистым орехом, за которым начинались заросли терновника, на выжженной траве видне-

лась все та же понурая фигура осла. Кругом чирика-ли серые воробьи. Да, на картине следовало изобразить и это чириканье, но осел, по своей сдержанности, конечно, не обращал на него никакого внимания... Чему еще следовало быть на этой картине? Да, с нижнего конца виноградника должен был подниматься дед, а между верхним и нижним краем картины надо установить какую-то связь между ослом и дедом, который набил свою большую корзину оставшимися тыквами, помидорами, арбузами (скорее всего на засол) и теперь направлялся к ослу, чтобы взвалить на него эту поклажу. Так рисовалась привычная картина, воспоминание о родимом доме и деревне, и если когда-нибудь мальчику суждено отправиться куда-то к черту на кулички, все, наверное, так и крутилось бы вокруг этого осла, и мальчик, как о самом заветном, мечтал: ничего больше не хочу, только бы усесться на осла и отправиться в этот виноградник...

Что обижаться на односельчан, даже в собственном доме, где кругом были только родные, при упоминании об осле Бог знает что начиналось. Отец Гелы был полеводом, ездил всюду верхом на лошади и именно эта лошадь постоянно служила ему средством уни-зить осла, сравнить с землей в глазах мальчика. В наше время и лошадь уже отжила свой век, что тут про осла говорить... Садясь на лошадь, и то стыжусь, пром-чится мимо агроном на своем «Жигули», а я не знаю, куда спрятаться. Прячься, не прячься, он остановит рядом свою машину, посигналит, и заорет во всю глотку: куда, мол, спешишь, к вечеру и так доберешься до виноградника! Крикнет и дальше катит, не оглянется...

Мать заведовала библиотекой, книжный человек, и хоть жалела осла от души, все же обвиняла мужа: это ты не устоял перед слезами мальчика, не продал тогда осла. Погоревал бы денек-другой, да и забыл обо всем, ничего больше. Я по деревне ходить боюсь, пока дойду до дома, все оглядываюсь, как бы не встретиться с сыночком и его ослом, не опозориться на глазах всей деревни...

Только дед вел себя как положено, и если бы не он, осла давным-давно уже продали на базаре. Разве вы можете знать ему цену, говорил он, вспоминая в эту минуту свое детство, когда ему было столько же лет,



сколько сейчас внуку, я так любил разъезжать верхом на осле. Но слова деда значили еще не все, чтобы спасти осла от продажи. Главное все же заключалось в другом, причина причин, из-за которой с ослом ничего не могли поделаться, состояла в том, что родители всерьез опасались, как бы мальчик с горя не сделал чего-нибудь с собой или не убежал из дома... Дед твердо был убежден в этом и принимался убеждать всех остальных, как только заходила речь о продаже осла и над любовью мальчика к ослу начинали собираться черные тучи.

Никто и впрямь ничего не мог понять. Гела был убежден, что и не имело смысла доказывать что-либо, не заслуживала этого ни его семья, ни соседи, ни вся деревня в целом, поскольку никто не мог понять простой вещи: чем был этот маленький несчастненький ослик для него. Пусть кто-нибудь попробует зимой в снег и мороз поехать в лес за хворостом, когда рубишь и собираешь ветки, а у самого руки мерзнут; когда вокруг слышны только звуки зимнего леса — то лиса просеменит в кустарнике, то белка пробежит по буковой ветке и осыплет снег, то ворона каркнет с верхушки дуба. А ты не обращаешь ни на что внимания и продолжаешь собирать хворост, и звук твоих шагов или стук топора разносится по всему лесу. Поблизости нет никого, кроме него, моего осла, и не мерзнет он, и никуда не торопится, стоит себе, объедает ветки с кустов и терпеливо ждет, поглядывая покорно и доверчиво. И он может бесконечно стоять так, пока ты подойдешь, похлопаешь ладонью по спине и скажешь: вот и пришло к концу твое ожидание, пора отправляться в путь. А там, глядишь, уже и сумерки опустились. Ночь постепенно завладела лощинами, покрыла кустарник и принялась закутывать темным пологом весь лес. Где-то уже крикнул шакал. Снизу доносится чье-то ворчание, уж не медведь ли?.. Да, здесь и с ним можно столкнуться на узкой тропке, у страха глаза велики, порой такое привидится, чего вообще нет на свете. Вот уже и волк завыл за горой, но и этот вой порожден страхом. Страхом и приближающейся ночной тьмой. Теперь уже лес наш, теперь до самого рассвета мы здесь владыки и хозяева, убеждают тебя все разом — и эти буковые деревья, и кусты, и ворчащий где-то внизу медведь, и

волки, воющие за горой. Вот так вот, братец, бери свое-
то осла и убирайся отсюда подобру-поздорову, бегите
в свою деревню пока не поздно, пока тьма не скрыла
тропинки... Страх не возьмет верх, не одолеет тебя, по-
тому что, если что, рядом твой верный, твой преданный
попутчик — осел.. Казалось бы, что он может?! Ниче-
го! Ни медведя отпугнуть, ни волков отогнать, но все
же — живое существо, стоит рядышком и преданно
заглядывает в глаза. И ты уже не чувствуешь себя оди-
ноким, вас двое, а раз так, можно ничего на свете не
бояться. Взвалишь связки хвороста на осла, усядешь-
ся верхом и... пошли-поехали! Идет он своей дорогой—
и груз тащит, и тебя везет, гордо восседающего, словно
тебе уже сам черт не брат... Пусть воют волки, пусть
бормочет медведь, — затяни в полный голос песню и
ничего не бойся! Услыхав пение, осел припустит по
склону, и ты чувствуешь, как, сжатый твоими лодыж-
ками, теплеет его круп, подрагивают жилки, как на-
прягается он весь, чтобы вывезти тебя с твоим грузом
из леса, в безопасность. Вот вы и выбрались, и осел зна-
ет, что ничего больше от него не требовалось — только
вывезти тебя из леса.

Снег снегом, но попробуйте испытать его и в самую
жару, в июльский зной. Приходилось вам бывать в рас-
каленных июльским солнцем лощинах? Ходили в дерев-
ню выжженными палящим зноем полями? Если нет,
тогда вам не понять цены этому ослу. Вокруг все го-
рит, речка пересохла и кипит. Пташки-пичужки попрятались в кустах. На потрескавшейся дороге в кои ве-
ки раз скользнет узкая лента змеиного тела и тотчас
скроется в какой-нибудь щели. А ты не думаешь ни о
чем другом, только бы укрыться в тени, спрятаться под
сень дерева и вздремнуть минутку-другую. А еще луч-
ше окунуться в речку, лечь навзничь и следить за кло-
чьями облаков в высоком небе. Но ничего не подела-
ешь, братец, сейчас не время нежиться, засветло нуж-
но добраться до дома, как бы ни палило солнце. На-
вьючь на осла хурджин, наполни арбузами, дынями,
сверху насыпь чесночных головок и картошку—и мо-
жешь пускаться в дорогу! Про себя от души ругнешь
это нещадно палящее солнце и пустое, без единого об-
лачка, небо, и дорогу, протянувшуюся до самой дерев-
ни так, что и маленького лоскутка тени не найдешь... Вот

в таком настроении глянешь опять на него... А он стоит себе не шевелясь, и нет ему ни солнца, ни зноя, щиплет себе высохшую траву, и знать ничего не знает. Изредка лишь глянет искоса в твою сторону, словно говорит, знаю, уже пора в путь, не ленись, ведь и тебя, и твой хурджин тащить-то мне придется... Вот так пристыдит тебя. Не знаю, как вы, а я испытываю стыд. Братцы! Нет, говорю, только хурджин тащи, я на тебя не сяду, если ты можешь в этой адской жаре ноги передвигать, то я что — хуже?! Не знаю, как вы, а я так говорю. Но одно дело сказать, а другое — уговорить его согласиться. Перевесишь через спину хурджин, а он и не думает с места трогаться, ждет, давай, мол, мне не впервой. Не думай, что я еще кому-то такое позволю, но ты другое дело... Я не заставляю себя долго уговаривать, — зачем его огорчать? — вскарабкаюсь на спину. Осел потому и осел, чтобы на нем верхом ездили. Так вот, только я взберусь, он тотчас с места трогается, свесит голову, не поймешь, то ли доволен, то ли нет, идет себе, погруженный в раздумье — и все! О чем, интересно, ему столько думать? И еще интересно, счастлив он или нет? Если счастлив, то когда именно, если несчастлив, то из-за чего? Когда его поднимают на смех, или когда привязывают к изгороди, не давая двинуться с места, или когда навьючивают непомерный груз?.. Кто как, братцы, а я своего осла люблю, люблю и жалею, а иногда даже и завидую ему...

Осла имел и мой дед, и его дети. Какими они были, интересно? Такими же послушными, как этот, или упрямыми и несговорчивыми? И какой масти? Что любили больше всего?.. Давно собирался мальчик расспросить деда обо всем, но никак не мог решиться, — подобный вопрос разнесся бы по всему дому, словно ружейный выстрел, потому что все бы окончательно убедились, что ничего на свете его не интересует, кроме этого осла, никого больше не любит, ни о чем не думает... Домочадцев это беспокоило, так как его сверстники увлекались борьбой и танцами, ходили на уроки музыки и игры на гитаре, этот же парень увлечен таким, что и сказать стыдно.

Больше всего в семье запомнили злосчастный день, когда Гела окончил школу и его отправили в город. Случилось это прошлым летом. Тогда решилась его

судьба, хотя сам для себя он решил ее давным-давно. Гела знал, что, даже готовясь в городе десятков лет, он не сможет опередить других на экзаменах и поступить в вуз. Понимал, что рожден деревенским жителем и это, если и не наполняло его гордостью, то уж, во всяком случае, и не огорчало, что, мол, неужели я хуже других?! Домашних это выводило из себя, и они со страхом ждали того черного дня, когда парень подойдет к калитке и произнесет одно-единственное роковое слово: срезался!

Осел тогда свел с ума не только семью, но и всю деревню. В ту неделю его никто не мог узнать. Даже деда не подпускал он к себе. Ни хворост на себя навьючить не дал, ни хурджин перекинуть, стоял оцепенев, на одном месте и любого, кто решался приблизиться, норовил лягнуть копытом. Тогда и потерял дед остатки терпения, вызвав радость всего дома: то-то, не давал нам его пальцем тронуть, может, хоть сейчас поймешь, что от этой скотины пора избавляться, пока парень не возвратился, пока никаких помех нету. Он ведь уже не мальчик, в конце концов, да и город чему-то научит... Как вам угодно, как прикажете, — ответил сердитый на осла дедушка и решил на следующий же день свести его на базар. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз (уже потом он во всем признался внуку), поднялся ни свет ни заря, когда весь дом еще спал глубоким сном, и попытался накинуть ослу веревку на шею.

Знаешь, братец, он сразу все понял! Сперва лягнул меня (прости его, дед... А я что — простил, конечно!). Потом как принялся орать, всю деревню перебудил, а потом вырвался и дал деру со двора. Да пусть его волки раздерут, лишь бы с наших глаз сгинул, пусть бежит, куда угодно, — сказали домашние, не скрывая радости. И впрямь — тут сын в студенты поступает, а тут — и осел со двора сгинул. Но радость избавления оказалась недолговременной. На следующий день к калитке подошел наш мальчик и произнес то одно-единственное слово, которого со страхом ждала вся семья: срезался...

А вскорости (никто в это не поверит, если даже привести в свидетели всю деревню, так как все произошло у нее на глазах), прибрел, свесив голову, к калитке и осел. Вот тогда-то вся деревня ржала до упаду и,

честно говоря, было над чем! Рассмеялся даже мальчик, а за ним — что было делать? — и отец с матерью, и дед... Все хохотали не в силах остановиться: вы что, парень, вместе в город уезжали? Чего же ты поездом ехал, когда рядом — верный осел?.. Как там горожане, сумели оценить его воспитанность и покладистый нрав? Потом все утешали парня, подбадривали — ничего, не ты первый, — и во всем обвиняли осла: не мог вовремя подсказать нужное словечко, глядишь, и не провалился бы на экзамене! Да разве он мог потихоньку шепнуть что-либо, небось весь свет переполошил своим криком, вот их и погнали назад! А осел стоял, свесив голову, словно на свете ничего не случилось, словно не он разобиделся на всех вокруг. Не он лягался почем зря, не он убегал черт-те куда... Стоял и спокойно щипал траву, оставшуюся под забором.

Тогда Гела понял, что семья и деревня окончательно разобрались во всем, что никогда больше не потребуют от него того, к чему он не пригоден с рождения. Его дело — бродить со своим ослом в приречных лощинах и лесах, все остальное придет само собой, если только оно будет таким же простым и естественным, как этот осел. Если бы в эту минуту сказать Геле, что придет время и он позабудет своего осла и эти денечки, когда он разъезжал, горделиво на нем восседая, потому что им завладеет страсть к более быстрой езде, и мысли увлекут Бог знает куда, заставив выбросить из головы все остальное, — он, конечно, не поверил бы, удалился испуганно, залез на своего верного осла и скрылся бы в лесу, чтобы и впрямь не стало явью то, что ему сказали, хотя вскорости все именно так и случится, осуществится с неотвратимостью рока.

Это произошло летом. Гела верхом на осле трусил по пыльной дороге, вокруг раскинулись пересохшие нивы, июльские нивы, когда все горит, но осел ни во что не ставит этот зной. Вот-вот должны показаться приречные лощины, и Гела не знает, что именно здесь, на пыльной дороге, возле этих пережженных зноем полей его поджидает крутой поворот судьбы.

* * *

Все разом пришло в движение, закрутилось и завертелось: ветер, поднявшийся из-за хребта, гнал об-

лака, звезды бежали друг за другом, машина с грохотом мчалась по спящей деревне, торопясь спрятаться за виноградниками. Гела болтался в кузове и ждал, что произойдет что-то неведомое и неожиданное. Колени мальчика тряслись, дрожали губы, взор перескакивал с дерева на дерево, с куста на кусты. Да и сами деревья с кустами тоже бежали наперегонки. Тусклые огоньки погруженной в сон деревни остались позади. Тьма, мчавшаяся навстречу грузовику, окутывала все потусторонним покровом.

Они свернули с шоссе на проселок, миновали поле и въехали в виноградник. Направляется к сторожке, — догадался Гела. Хотя ему уже было все равно, куда они едут. Грузовик тархтел перед сторожкой, потом все смолкло и воцарилась тишина.

Ее нарушало только женское хихиканье и гоготанье Гогна.

Открылась дверца, и девушка спрыгнула на землю, смеясь и оправляя платье.

— Вот привязался...

Гела, не откликаясь, пошел к виноградным рядам.

Когда он вернулся, в сторожке уже горел огонь. Вокруг очага валялись большие колоды. В углу — застеленная кушетка. На крючьях и колышках были развешаны серпы, плетенки и маленькая корзинка. Гогна выкладывал из сумки сыр, хлебцы шоти, соленья и груши. В конце вытащил бутылку с водкой и поставил на столик возле очага.

Гела стоял на пороге, не собираясь входить в сторожку.

Женщина помахала ему рукой.

Гела не отозвался.

Теперь уже оглянулся и Гогна:

— Ты что, приглашения ждешь, заходи.

Женщина улыбнулась мальчику.

— Чего скалишься?

Женщина вскочила, подбежала к Геле, взяла за плечо и втокнула в сторожку.

Гогна налил водку, взял стакан и протянул женщине.

Она горделиво посмотрела на Гелу:

— Я не пью!

Мальчик обрадовался.

— Не начинай выкобениваться.

Эти слова привели женщину в ярость: ты что тут раскомандовался, в конце концов! Не понял еще, что ошибся адресом? Я же не сумасшедшая была, когда просила захватить груши! Если б хотела водки, так и сказала бы! Псих какой-то! Неужели в такую здоровую тыкву ни грамма мозгов не вложил тебе Господь Бог? Он меня принимает за тех, кто в вокзальном буфете надерутся и тут же засыпают, а просыпаются уже в милиции... Он, может, и тому не верит, что я была замужем? Да, была, и муж был не тебе чета! Что с того, что мы разошлись, со свекровью общего языка не нашли, ничего не поделаешь... Я все на свете вынесу и стерплю, кроме свекрови. Тебе бы такую ведьму! Не могла же я отдать ей себя на съедение, верно?.. Взяла и убежала...

— Давай, гони дальше!

— Без тебя знаю, гнать мне или нет! Тут мой муженек, настоящая баба (это я любя говорю!) вскочил и — за мной: вернись, не губи хоть малыша, отдельно жить станем... А я — не хочу, говорю, и не вернусь... Делать мне нечего сидеть с тобой и портки тебе стирать! Ушла и не вернулась... Я и так любила бродить, особенно базары люблю, прямо с ума схожу... И вокзалы тоже... Когда подойдет поезд, из окошек расфуфыренные женщины выглядывают, кто-то махнет рукой, у тебя сердце защежит, что и ты с ним не едешь... А этот мне водку подсовывает, словно пьянчужке какой!..

Женщина так же внезапно успокоилась и с хрустом откусила грушу.

Гогиа опрокинул стаканчик с водкой, потом протянул парню.

Гела не взял у него стаканчика.

Женщина расхохоталась.

Гогиа, видать, рассердился.

Женщина тыкала в него пальцем:

— Гляди-ка, какое лицо стало, нет, жена тебя не станет терпеть!

— Вот и не стала.

Почувствовав жалость к Гогиа, женщина замолчала.

В сторожке воцарилась тишина.



Гела решил снова выйти во двор.

— Ты куда? Без тебя нам скучно будет...

Гогна рассердился еще больше, наполнил стакан и выпил.

Гела вернулся.

— И чего ты водку глушишь?!

Женщина засмеялась.

— Пусть себе глушит, заснет скорее.

Гела вышел из сторожки. Ему стало смешно: в эту минуту он пожалел, что с ним не было осла... Ничего больше ему не хотелось на свете, только бы осел вдруг оказался рядом, пришел собственными ногами и, как всегда, без слов, сказал ему: давай, садись, поехали... И они бы поехали, трясясь, колыхаясь, переваливаясь из стороны в сторону, смеясь и сердясь, что-то напевая или крича во весь голос. Парню действительно ничего другого на свете не было нужно, и он удивлялся, почему не могло осуществиться такое простое желание: взобраться на осла и уехать... Так искренне удивлялся, что даже решил пройти к ограде виноградника, как частенько хаживал в своем подворье и находил там осла, пощипывающего травку. Решил — и пошел, оглядываясь вокруг, вслушиваясь в ночное безмолвие, вглядываясь во тьму. Не доносилось даже шороха сорванной травинки. Осла не было.

Гела миновал орешник и в конце виноградника бросился на траву. Заснуть бы, что ли, — подумал он и повернулся лицом вниз. Он обеими руками обнимал землю.

— Эгей! — крикнула женщина.

Мальчик не откликнулся.

Долго доносилось потом женское хихиканье, и оно казалось столь же естественным и обычным здесь, как жабые кваканье, ночные шорохи, шлепанье сорвавшейся с ветки сливы и журчанье ручейка, бежавшего за оградой.

Мальчика сморила дремота.

Разбудил его неожиданный шум:

— Я тебе покажу, никуда от меня не уйдешь!

Нет, Гела действительно не знал, что надо делать в подобных случаях с тридцатилетним парнем, что было правильнее в конце концов, удалиться, не обращая на происходившее никакого внимания, или же подойти,

встать над головой и сказать: я тут! Ничего больше, только два эти слова, что он здесь и чтобы они знали об этом. В таком случае все повернулось бы совершенно по-иному! Как именно? Откуда Геле было знать, что и как происходит в таких случаях, разве с ним бывало когда-либо что-нибудь подобное! Нет, не бывало, разумеется, а если что и случалось в мыслях, так там шофера Гогна и духу не было. В мыслях он всегда был один, он и та женщина, которая порою имела свое имя, а порою так и оставалась безымянной. Они тоже должны остаться одни, разумеется, тут и думать нечего.

— Эгей! — снова крикнула женщина.

Гела не откликнулся.

— Иди сюда, парень, посмеемся!

Ноги сами, не спрашиваясь, понесли мальчика.

Пройдет время, и он обо всем будет вспоминать со смехом, особенно о том, как в ту волшебную ночь его тело, его руки и ноги, голова и сердце сами собою делали, что заблагорассудится, ни о чем не спрашивая его.

Он пошел к ним! Со временем он посмеется и над этим: чего я пошел, что мне нужно было! Ведь если бы он не подошел, все повернулось совершенно иначе. Но он подошел.

У самого порога сторожки он остановился, застеснявшись, и повернул назад.

Гогна полураздетый стоял — такой здоровый буйвол! — на коленях перед женщиной, спрятав голову в подоле ее платья. Женщина хохотала и отбивала на его голове ладонями барабанную дробь.

Заметив Гелу, Гогна вздрогнул, повернулся и буркнул:

— Убирайся, исчезни с глаз сейчас же!

Нет, это был не Гогна, это был какой-то другой человек, и мальчику хотелось до конца разобраться в том, что он хотел сделать, что надумал, и который из них двоих — прежний Гогна или нынешний — был всамделишным, а какой — выдуманным.

Гогна подошел к мальчику и ударил его.

У Гелы потемнело в глазах, он еле удержался на ногах.

В свою очередь ударил и Гела.

Гогна оттолкнул его:

— Придушу, как цыпленка!

Гелу обволок сверху запах водки, чеснока и лука и он почувствовал тошноту.

Женщина сзади ударила Гогна палкой.

Гогна поднялся, шатаясь, подошел к кушетке и свалился на нее.

Женщина хохотала:

— Получил свое! Получил!

Когда Гела встал, Гогна уже храпел во весь голос.

Теперь надо впрямь уходить, — подумал он и вышел во тьму.

Его остановил голос женщины:

— Смотри, никуда не исчезай...

Мальчик не смог ничего ответить, только пробормотал:

— Ладно, не исчезну...

Из сторожки вырывался храп Гогна и разносился по всему винограднику.

* * *

Внезапно все вокруг объяла тишина. Небо было усеяно звездами. Луна склонялась к закату. Дело уже идет к рассвету, — подумал мальчик. Но рассвет еще был не близок. Гела лежал на траве и испуганно вслушивался в храп, который еще более подчеркивал объявшую виноградник тишину. Гела не знал, чего он боялся.. Он чувствовал, что должно произойти еще что-то, пытался избежать этого, и, в то же время, напряженно ждал. Где-то вдали прогремел поезд. Грохот поезда вновь напомнил о вокзальном ресторане, тамошних гуляках и той женщине, которая не осталась где-то там, вдали, а была здесь же, рядом, и, верно, уже спала. Но женщина не спала: Гела услышал ее шепот почти возле самого уха:

— Эгей!

Мальчик не отозвался.

— Иди сюда...

Он и на этот раз не откликнулся, и над виноградником воцарилась тишина.

Гела лежал и с трепетом ждал зова женщины.

И этот зов раздался:

— Не слышишь, что ли? Иди сюда, говорю!

Гела встал и побрел к сторожке.

Гогна развалился на кушетке и храпел, разинув рот. Женщина сидела на колоде и улыбалась мальчику — Входи, чего боишься?

Гела шагнул через порог и подошел к Гогна.

В сторожке по-прежнему стоял запах водки, чеснока и лука.

Да, Гогна, который лежал разметавшись на кушетке, был чужим, незнакомым человеком... Чего мне стесняться этого чужака, — подумал Гела и им вновь овладело желание, мучившее его весь вечер желание, которого он так и не решился осуществить: ему хотелось убежать!

Неожиданно он услышал шепот женщины:

— Хочешь, убьем его?

Гела вздрогнул, словно его застигли на месте преступления. Слова женщины не удивили его. Она произнесла их просто и обыденно, и Гела так же просто и обыденно воспринял их. Они с полуслова поняли друг друга, и Гела испугался. Над головой Гогна, словно меч, висел наточенный серп, и женщина, произнеся свои слова, смотрела на него. Мальчику казалось, что Гогна глядел ему в глаза с укоризной и осуждением. Мальчику в эту минуту снова стало жаль его, эта незнакомая туша вновь стала близкой и родной, и мальчик смело взглянул на женщину.

Она сидела и хихикала.

— Все вы трусы... Я еще не встречала смелого мужчины!

Гела вышел из сторожки. Эта прошедшая огонь и воду женщина догадалась о том, что мучило Гелу весь вечер. Гогна для него стал чужим. Все, что его связывало с ним, разом исчезло куда-то, все нити разорвались, и дни и месяцы, проведенные мальчиком рядом с этим Гогна, оказались бессмысленными и ненужными. А женщина запросто, в двух словах выразила все, что его мучило и не давало покоя, заставив содрогнуться всем существом: хочешь, убьем его?

Каким легким оказалось все. Как просто решиться и как просто осуществить! Подумав это, Гела разозлился на женщину и крикнул:

— А ну, выходи!

Женщина вышла, посмотрела на небо, сладко потянулась и обхватила Гелу обеими руками.



Гела оттолкнул ее.

— Подожди, еще попросишь, — засмеялась женщина и навзничь бросилась на траву.

Парень, не говоря ни слова, направился к винограднику.

За виноградником начинался луг, посреди которого стояли скирды свежескошенного сена.

Гела прилег на сено и закрыл глаза.

— Эгей! — окликнула женщина.

Гела молчал.

— Не слышишь, что ли? Куда ты пропал?

Потом донесся шорох травы.

— Ты почему меня одну бросил?

Женщина прилегла рядом.

— Не бойся.

— Я не боюсь.

— Меня не обманешь! Ты весь взмок от страха.

Женщина обняла его и, хихикая, стала развязывать пояс.

Мальчик закрыл глаза.

Внезапно весь свет пришел в движение и закружился.

* * *

— погоди, парень, куда торопишься?

Мальчик ничего не слышал.

— Поглядите-ка на него...

Смех женщины разносился по винограднику.

— Все бока мне отбил!

Но мальчик по-прежнему не воспринимал ничего.

Потом, громко дыша, он повалился в траву.

Женщина протянула руку и погладила его по голой спине.

— Пусти!

— Вот так вы все, теперь я тебе больше не нужна!..

* * *

Гела бежал к реке.

Ничего больше ему не было нужно — только эта река, негромко журчавшая в лощине река, в которую он должен броситься, погрузиться с головой.

Он бежал, а вдогонку неся голос женщины:

— А если ты меня больше не увидишь?!



Мальчик остановился, не зная, как быть.

— Не хочешь видеть больше и не надо!

Он снова побежал, но голос не отставал:

— Я тогда соврала, сказав, что был у меня побратим, которого убили... Что ты похож на него...

Он бежал, думая: только бы она больше ничего не говорила.

А женщина кричала вслед:

— Будь моя воля, убила бы тебя!

Тогда мальчик остановился, подумал и спросил:

— За что?

— За то, что ты такой хороший!

Мальчик вновь побежал, а женщина хохотала вслед:

— Испугался! Струсил!

— Ничего не испугался...

Да, он не испугался. Ничего больше он не боялся, ни ночи, которая уже шла к концу, ни Гогна и ни этой женщины, чье тело уже не вызывало в нем ничего. Не боялся и того, что, вернувшись, вновь захочет подойти к женщине, ни того, что сейчас бежал куда-то, сломя голову, не оглядываясь. Горизонт стал бледнеть. А мальчик ничего больше не хотел, только окунуться в речку с головой.

Сейчас, на заре, Гела жалел только эту женщину и только тому поражался, как легко говорила она об всем. Женщина (по убеждению мальчика, в ней был все же что-то от ясновидящей), словно догадавшись обо всем, напоследок крикнула:

— Не бойся, я опять обманула тебя!

Больше мальчик уже ничего не слышал.

* * *

Речка была прохладной. До тех пор, пока он не вошел в воду, запах водки, чеснока и лука не пропадал, словно исходил от его собственного тела... Вдруг я никогда не избавлюсь от этой вони, испугался он. Холодная вода сразу отрезвила его, расслабила напряжение в суставах, сняла тяжкий камень, который давил на душу, пока он не окунулся в речку. А сейчас утонул где-то на дне. Все, происшедшее с ним ночью, стало простым и понятным. Отдавшись обжигающе холодной струе, Гела ощутил счастье. Все осталось позади, прошлое уже вроде и не существовало. В эту минуту он

даже испытывал гордость, вспоминая нынешнюю ночь, все, что ушло в прошлое и что еще, возможно, начнется заново. Медленно наступавший рассвет нес взамен запаха водки, чеснока и лука аромат свежескошенного сена. Луна, всю ночь стоявшая над головой, давно уже закатилась за гору, и звезды, которые мальчик заметил лишь сейчас, гасли одна за другой. Только одна звездочка еще горела у горизонта, должно быть, та самая рассветная звезда, и лежавший плашмя на волне мальчик даже не заметил, когда она закатилась или погасла.

Выбравшись из воды, он растянулся на песке. На востоке показалось солнце. Теплый солнечный луч упал на грудь мальчика. Солнце поднималось все выше и выше, и мальчик всем телом ощущал его ласковую теплоту.

Только теперь, столько времени спустя, вспомнил он свой дом, дедушку, мать с отцом, братьев и сестер, удравшего в горы осла, вспомнив о нем, улыбнулся. Ну и что с того? Многие улыбаются, вспоминая осла, только сам осел остается погруженным в свои мысли и ни разу не улыбнется.

Гела натянул одежду.

— Пойду в горы и отыщу его, — сказал он.

Сорвав со свесившейся через изгородь ветки спелый персик, откусил и пошел по дороге.

— Садись, поедем.

Он оглянулся.

Из окошка кабины выглядывал Гогна, рядом сидела, опустив голову, та женщина.

У Гогна были глаза укрощенного буйвола.

— Я был очень пьян вчера?

Гела не ответил.

— Поверишь, ничего не помню... Ни одного словечка, совсем ничего... Помню, что ты был с нами, а больше ничего... Что дальше произошло?

— Что могло произойти?

— Не знаю... После пьянки всегда со мной так...

— Ничего не произошло.

Гогна долго глядел на него, потом сказал:

— Садись, не то сейчас мое сердце разорвется.

Женщина бросила на него косой взгляд и улыбнулась, как заговорщица своему единомышленнику.

Гела пожалел Гогиа, взобрался в кузов и сел.

Грузовик тронулся с места.

Они ехали между виноградниками, пустыми нивами, редко торчавшими там и тут огромными дубами и карагачами. Дорога сворачивалась в кольцо и вновь распрямлялась. Но это уже была не та дорога, что вчера, позавчера и еще раньше. Гогиа не орал больше свои любимые песни, не окликал каждого встречного, большого и малого, не отпускал шуток вслед любой девушке, скрывавшейся при их приближении за калиткой. Гогиа уже не был прежним Гогиа, может, сейчас именно он стал настоящим Гогиа. Тогда и овладело Гелой желание, которое так желанием и оставалось, а сейчас, в эту минуту, могло осуществиться на самом деле. Гогиа походил на потерянную куклу. Тогда Гела почувствовал желание подобрать эту куклу, осторожно отряхнуть пыль, расправить руки и ноги и вернуть владелице, а владелица была Гогина мать. Гела отнес бы ей куклу, усадил напротив и произнес:

— Вот, возьмите...

А потом повернул бы назад и пошел своей дорогой. Вместо этого Гела отправился на поиски своего осла.

Грузовик свернул к лесу.

Вдалеке показалась речка.

Отсюда идет дорога к Чалаури, — подумал мальчик.

Он спрыгнул через борт на пыльную дорогу и упал как подкошенный.

Водитель ничего не заметил.

Машина скрылась за поворотом.

Гела побрел по тропе, сбегавшей к берегу речки.

* * *

На той картине, которая открылась на берегу реки автору выдуманной истории, уже собраны все семеро: погруженный в свои мысли Абриа Махаури, выскочившая из лесной чащи девчонка, пугливо вертевшая головой во все стороны матушка Гарсо со своей парой быков, юркая старушка-сорока, высокая, худощавая женщина — Лела Гудушаури с красивым мальчиком—своим внуком и Гела. Все семеро, рассердившись на что-то или на кого-то, отправились в это самое

Чалаури. Община семерых, эта маленькая птичья стая, как звал ее автор вымышленной истории, он же повествователь, вот-вот готова была взлететь и направиться в теплые края. Лето кончилось. В горах скоро похолодает, и эта семерка должна успеть сделать то, что задумала. Там, наверху, Чалаури, и именно туда держала путь община семерых. Чалаури для них — земля обетованная, маленький осколок небесной тверди. Чалаури знало это, не могло не знать и ждало прихода или восхождения к нему этой семерки как возвращения блудного сына. Сейчас все было направлено к Чалаури и никуда больше — любая слезинка каждого члена общины семерых, каждая улыбка, каждое слово благодарности или упрека.

Эпилог должен разыгаться в Чалаури.

Когда наша история стала постепенно завершаться, автор вымышленного повествования начал молить провидение, чтобы все окончилось просто и естественно. По его глубокому убеждению, в придуманной истории, какой бы нереальной и необычной она ни была, не должно происходить ничего странного и экстраординарного, все должно быть простым и естественным, как дождь с неба. Со всей искренностью желал он, чтобы все окончилось благополучно, община семерых обрела то, чего ищет, и все завершилось так, как сотни и тысячи раз до того... Читатель любит счастливые концы... При воспоминании о читателе автор выдуманной истории подумал о том, что рассказ об этой семерке, возможно, не нужен даже семерым людям на всем земном шаре. При этой мысли все сразу потеряло всякий смысл... Такое случается порой с авторами сочинений...

Окончание следует

Перевод Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ



К международному дню защиты детей — 1 июня
— по давней традиции мы предлагаем нашим маленьким читателям два рассказа.



Гурам ХАРАИДЗЕ

Автобус Сизмары

СКАЗКА

Хотите верить, хотите нет, но история эта приключилась на самом деле.

Живет на нашей улице мальчик по имени Сизмара¹. Больше всего на свете любит он бывать в зоопарке. Он все время думает о нем — и днем, и ночью, и дома, и в школе, и даже тогда, когда гуляет.

Кстати, я знаю другого мальчика, который буквально бредит двухколесным велосипедом. Но речь не о нем.

Так вот, однажды вечером, сидя в кресле, Сизмара думал о питомцах зоопарка и не заметил, как уснул.

Вдруг в открытое окно влетела очень яркая, красивая птица, села на подоконник и огляделась по сторонам. По пестрому оперению и необычному клюву нетрудно было угадать, что это — попугай.

Попугай сел на шкаф и оттуда тихо позвал:
— Си-зма-ра... Си-зма-ра...

Удивился Сизмара, откуда попугаю известно его имя.

¹ Имя, производное от слова «сизмари» (груз.) — сон.

— Что случилось, чего тебе надо? — откликнулся Сизмара.

Причесав клювом перышки, Попугай спрыгнул на спинку кресла.

— Ой, как я рад, что встретил тебя, — защебетал он.

— Как ты узнал мое имя и почему прилетел ко мне?

— Меня прислали к тебе жители зоопарка.

— Что случилось? — нетерпеливо спросил Сизмара.

— Мы хорошо знаем тебя, ты ведь частый гость в зоопарке, подолгу стоишь то у одной клетки, то у другой. А если у тебя с собой конфеты или семечки, ты угощаешь нас...

— Не тяни, рассказывай, что случилось?

— Нам грозит беда, друг мой. Я-то давно улетел из зоопарка, живу под крышей вашего дома.

— Правда?! — обрадовался Сизмара.

— Да-да... И каждый день наблюдаю, как ты кормишь крошками хлеба голубей и воробьев. Ты добрый мальчик, вот мы и подумали, что, может быть, ты нам поможешь.

— Разумеется, помогу, если это в моих силах.

— Ты, конечно, знаешь, что в зоопарке живут разные звери, среди них и злые — волк, шакал, тигр, гиена, орел, сокол. Они хищники и пусть себе сидят в клетках. Но скажи на милость, в чем провинились страус, олень, жираф, слон, пингвин?.. К ним служитель зоопарка относится очень плохо, даже кормить забывает. И вот добрые звери и птицы договорились этой ночью покинуть зоопарк.

— Что ты говоришь? — удивился Сизмара.

— Вчера я незаметно пробрался в комнату служителя и взял ключ. Как только стемнеет, я открою клетки и выпущу добрых обитателей зоопарка. Но без твоей помощи, Сизмара, нам не обойтись.

— Говори же, как я могу помочь вам!

— Сейчас скажу. Ты, конечно, знаешь дядю Ваню, того самого, что ставит ночью автобус у ворот вашего дома.

— Конечно, знаю.

— Так вот, слушай. Поздно ночью ты заведешь

мотор и будешь ждать нас в автобусе. Довезешь до леса, а там...

— Но ведь я не умею водить машину? прервал Попугая Сизмара.

— Я научу тебя. Смотри на меня: одной ногой нажимаешь на одну педаль, другой — на другую, вертишь руль и — вперед!..

— Понятно...

— Ты довезешь нас до леса, возвратишься и поставишь автобус на место. Так что дядя Ваню ничего не заметит.

— А что вы будете делать в лесу?

— Именно об этом я и собирался рассказать. Мы хотим открыть в лесу зоопарк для добрых зверей и птиц.

— Как интересно!..

— Да-да, в нашем зоопарке будут жить только хорошие звери и птицы, там не будет ни клеток, ни огромных замков. Мы все будем свободны!

— Вот здорово!..

— В наш зоопарк будут приходить только хорошие, добрые девочки и мальчики, вроде тебя, Сизмара. А теперь я полетел... Жди нас...

Поздно ночью Попугай сел на подоконник и тихо позвал:

— Си-зма-ра... Сиз-ма-ра...

Сизмара вскочил, быстро оделся и вышел во двор.

Из автобуса, стоящего у ворот, доносился оживленный шепот — Сизмару уже ждали.

— Скорее, скорее, — захлопал крыльями Попугай.

Сизмара поднялся в автобус, сел на водительское место и огляделся.

— Нажми на правую педаль! — подсказал Попугай.

— Нажал...

— Теперь на левую... Так... А теперь поворачивай руль в одну и другую сторону.

Сизмара последовал совету, и автобус покатил по улице. За окнами автобуса замелькали деревья и затемненные окна домов. Пассажиры необычного автобуса затихли.

Ехали долго. Наконец Попугай повернулся к пассажирам и сказал:

— Давайте знакомиться... Хорошо бы, если бы какой-нибудь из нас рассказал Сизмаре, кто он, где живет, что любит... Ему, наверное, это будет интересно.

— Прекрасно, очень хорошо! — дружно согласились новые друзья Сизмары.

— Кто начнет? — спросил Попугай.

— Могу я... — согласилась Кенгуру и опустила руки в карман.

Все приготовились слушать.

— Много лет тому назад к нам в Австралию прибыл английский путешественник Кук...

— Кук, кук, кук... — передразнил Жираф.

— Да замолчи ты, — прервал его Попугай. — Продолжай, продолжай, Кенгуру, все мы внимательно слушаем тебя.

Кенгуру сердито сверкнула глазами на Жирафа и продолжала:

— Так вот, бродя по острову, Кук увидел странное животное, скачущее на двух ногах и очень удивился.

— На двух ногах?

— Ну да, вот так, — сказала Кенгуру и запрыгала на месте, чтоб все убедились, что она умеет прыгать.

— А почему ты прыгала?

— Потому что в далеком прошлом наша земля сплошь была покрыта непроходимыми кустарниками, нам нелегко было преодолевать их, мы и научились прыгать. А сегодня я легко прыгаю на расстояние семи метров, мне это ничего не стоит, а в высоту я могу прыгнуть на два-три метра. Кук поинтересовался у какого-то австралийца, что это за диковинное животное. «Кен-гу-ру!» — ответил тот австралиец, что означало на его языке — «не знаю, о чем меня спрашиваешь». А Кук решил, что меня зовут Кенгуру, вот с тех пор все меня так и называют.

— Стало быть, ты Незнайка? — засмеялся Жираф.

Кенгуру вспыхнула и замахнулась на Жирафа хвостом.

— Прекратите немедленно. Ты, Кенгуру, не об-

ращай на него внимания. Продолжай, ты очень интересно рассказываешь, — урезонил их Попугай.

Жираф пристыженно опустил голову. Кенгуру собиралась продолжать свой рассказ, но тут Обезьяна вцепилась ей в сумку.

— Ты лучше скажи, что у тебя в сумке!

— Имей терпение, всему свой черед, — ответила Кенгуру назойливой Обезьяне. — В этой вот сумке, — продолжала она, — мы носим своих малышей. Дети рождаются у нас малюсенькими, с мизинец Сизмары, и как только появляются на свет, тотчас ползут в сумку.

— Хи-хи-хи... — засмеялась Обезьяна.

— Что тут смешного? — удивилась Кенгуру. — Потому и зовут нас сумчатыми. Малыши находятся в сумке несколько месяцев, а когда подрастают, покидают сумку и учатся прыгать...

— А где они спят? В сумке? — спросил Попугай.

— Нет, они к тому времени уже такие большие, что не помещаются в сумке... — Кенгуру закончила свой рассказ и повернулась к Жирафу: — Вот ты, Жираф, то и дело мешал мне. Ты лучше расскажи о себе, а мы послушаем.

— Расскажи, расскажи, — зашумели вокруг.

Жираф поднял голову, но лучше бы он этого не делал — он так больно стукнулся головой о крышу автобуса, что у него дух зашелся.

Однако пассажиры все почему-то залились смехом, а Обезьяна даже запрыгала на месте, почесывая живот.

— Перестаньте, успокойтесь, как вам не совестно! — стыдил пассажиров Попугай.

Жираф, придя в себя, осторожно поднял голову и стал рассказывать:

— Давным-давно император Юлий Цезарь привез меня из Африки в Италию и поместил в клетку. Шли и шли люди посмотреть на меня, поразвлечься. И однажды лопнуло мое терпение, я разворотил клетку и убежал.

— Молодец, молодец! — воскликнул Попугай.

— И что же потом? — спросила Обезьяна.

— Жил я себе преспокойно... Однажды люди, производя раскопки древних городов, обнаружили мо-

гильную плиту с изображением животного. Думали, думали они и пришли к выводу, что это жираф. Кстати, очень любят рисовать жирафов дети, если, конечно, у них есть большой лист бумаги.

— Не так-то легко найти лист бумаги, чтоб нарисовать тебя, — захихикал Слон.

— Это потому, что я высокий и необычный!

— Необычный?

— Ну конечно! Взгляните на меня повнимательней... Голову и тело я заимствовал у лошади, плечи и шею — у верблюда, гриву — у козы, уши — у коровы, хвост — у осла, ноги — у антилопы, копыта — у буйвола, а окрашен, как леопард.

— Стало быть, все у тебя чужое, а что же у тебя свое, собственное? — удивился Верблюд.

— Видите эти рога, что украшают мой лоб?

— Видим.

— Вот они мои собственные, да к чему мне они? Не думайте, что я хвастаю, я на самом деле очень добрый, не умею даже сердиться, разве что если очень разозлить меня. Потому-то и прозвали меня арабы «зераф», что означает на их языке «добрый», «любимый».

— Любимый, чем же ты любишь полакомиться? — жеманясь, спросила Обезьяна.

— Траву люблю... И листья... Что же еще вам рассказать... Пожалуй, все. — И Жираф высунул в окно свою длинную шею.

— А ты чего клюешь носом, спать хочется? — обратился Попугай к Верблюду. — Пришел твой черед рассказывать.

Верблюд лениво поднял голову, потрянул горбом, хвостом отогнал от себя муху и произнес степенно:

— Как известно, я живу в жарких странах. Верблюды встречаются одногорбые и двугорбые... — Тут он зевнул, опустил голову и захрапел.

— Ну и ленивец, глядите, уже спит! — воскликнул Попугай.

— А мы его сейчас разбудим! — Обезьяна прыгнула Верблюду на спину. Но тот храпел как ни в чем не бывало.

— Отойдите, я знаю, что с ним делать, — произнес Слон и вытянул хобот.

Все замерли, а Обезьяна в ожидании потехи поудобнее устроилась между горбами.

Слон дотянулся хоботом до уха Верблюда и затрубил с такой силой, что Верблюд вмиг очнулся и, вытаращив глаза, стал испуганно озираться по сторонам...

— Ты уж извини нас... — сказал Попугай.

— Кажется, я что-то рассказывал... — растерянно проговорил Верблюд.

— Ну да, рассказывал! — слышалось отовсюду.

Верблюд задумался, но, судя по всему, не вспомнил, о чем он рассказывал.

— Не помните, на чем я остановился? — спросил он.

— На том, что вы одногорбые и двугорбые, — крикнула Обезьяна, удобно примостившаяся между горбами.

— Да, верно... Стало быть, мы одногорбые или двугорбые. Мы...

— Но мне сидеть на двугорбом куда удобнее, — отозвалась Обезьяна.

— Как я погляжу, тебе понравилось сидеть там, так ты хотя бы помолчи...

— Пусть сидит... Я привык к грузу и потяжелее. Мы весь свой век носим тяжести, ходим по таким дорогам, по которым не пройдет ни конь, ни осел. Скажите на милость, кто из животных может ходить по пескам пустыни! А мы, жители жарких стран, привыкли к этому. Там, где мы живем, никогда не бывает снега, куда ни глянешь — всюду песок и только песок. Днем так жарко, что на раскаленных камнях можно жарить яичницу. В песках ничего не растет, и надо преодолеть сотни километров, чтоб набрести на родничок...

— Да-да, все так и есть, — подтвердил Слон.

— Горбы у нас не только для того, чтоб было удобно сидеть и возить груз, как думает Обезьяна. В горбах — наша еда и вода, благодаря им мы можем преодолевать долгий и изнурительный путь, голодать несколько дней.

— Вот это да-а! — восторженно произнесла Кенгуру.

— Будь у меня такой горб, жил бы и ни о чем не тужил, — захолопал ушами Слон.

Обезьяна прыгнула вниз, почесала под мышкой и примостилась рядом с Кенгуру.

— Коль мы заговорили о еде, — продолжал Верблюд, — должен сказать вам, в пустыне днем с огнем не найдешь растительности, и потому мы охотно поедаем все — сухую траву, корзины, веники, соломенные шляпы и даже циновки...

— Хи-хи-хи, — захихикала Обезьяна.

— Скажу больше, — продолжал невозмутимо Верблюд. — У нас в деревнях дома плетут из тонких прутьев, кроют соломой и ветками. Вот если бы нам достался такой домик, будь здоров, один верблюд может в четыре часа съесть его подчистую.

— Да, дом вы можете съесть, это верно, но, как мне показалось, смелостью похвастать вы не можете. Вот когда Слон... — Кенгуру хитро прищурилась и замолкла.

— Что верно, то верно... Мы в самом деле пугливы, даже зайчонок, выпрыгнувший из-за кустарника, может нас напугать. Что поделаешь... Нас никто не боится, даже малые дети. Мне стыдно говорить об этом, но должен признаться, нередко они так доводят меня, что я, представьте себе... плююсь... Я понимаю, что это нехорошо... Но что делать, когда тебя доводят.

— Да плеваться некрасиво, — покачала головой Кенгуру.

— Вот как только ты перестанешь плеваться, мы зауважаем тебя, — не унималась Обезьяна.

— Но и дети не должны дразниться, — заступился Попугай за Верблюда.

— Правильно, правильно! — подтвердили остальные пассажиры.

Пока они спорили, Верблюд, боясь заснуть, стал жевать жвачку. Когда же все уgomонились, он продолжил:

— Вы уж извините, что я говорю с вами лежа, но стоит мне подняться, как я закричу, — такая у меня привычка: перед тем как лечь и встать я непременно кричу. Признаться, когда я ложился на пол, с трудом удержался, чтоб не закричать...

— А ты встань, надо же нам знать, как ты кричишь, — снова не удержалась от шутки Обезьяна.

— О, в этом мало приятного. Вы слышали, как кричит осел? А как рычит тигр? Мяукает кот? Шум от разбитой посуды? Вот если собрать воедино все это, получится мой крик... Но не забывайте, что нам сейчас надо быть предельно осторожными, чтоб нас не обнаружили, верно?

— Ты прав, Верблюд.

— Не вставай, не губи нас, — наперебой зашептали все.

Верблюд продолжил повествование:

— И не такие мы лентяи, как вы думаете. Как только мы появляемся на свет, мы уже умеем ходить. И бегаем мы прекрасно. Пробежать сто пятьдесят километров нам не составляет никакого труда. Встречаются верблюды одногорбые и дву... — Верблюд, уставший, видимо, от долгого рассказа, зевнул и... впал в сон.

— Опять он заснул! — всплеснул крыльями Попугай.

— Соня, соня! — затараторила Обезьяна, вскочила и закричала Верблуду в ухо: — Просни-ись, проснись!.. Слушай, Слон, — повернулась она к Сло-ну и подергала его за хобот. — Попробуй разбудить его, а?

Но Слон, неожиданно обхватил Обезьяну хоботом и так сжал ее, что она успела только крикнуть «Ой!» — и закатила глаза.

— Какой ты сильный! — воскликнул кто-то из пассажиров.

— Отпусти ее, того и гляди испустит дух, — вытянув шею, проговорил Жираф.

— Да ладно уж, пожалей эту балаболку, — попросил Попугай.

Слон тряхнул хоботом и швырнул Обезьяну прямо в кабину. Она испуганно прижалась в угол, щупая себе ребра.

— Мы были наслышаны о твоей силе, Слон, но сейчас убедились в этом воочию, — сказал Попугай.

Слон, довольный, помахал коротким хвостом и гордо произнес:

— Это все ерунда... Вот у себя на родине, в Аф-

рике и Азии, я поднимаю и огромные стволы, помогая людям. И не хуже Обезьяны умею плясать. Вы поглядите на меня в цирке, как я выступаю..

— Пляшешь?

— Не верите?.. Смотрите!—Слон поднял сперва одну ногу, потом другую, а потом сел на задние ноги и вытянул вверх передние.

Обезьяна прямо-таки повалилась со смеху.

— Странное создание эта Обезьяна, то плачет, то тут же смеется.. — проговорил, недоумевая, Жираф.

— А ты хочешь, чтоб я только плакала? — состроила гримасу Обезьяна и подскочила к Слону. — Ну, ну, рассказывай дальше.

— Такой большой и так легко танцует... — сказала Кенгуру и спрятала руки в сумку.

— Э-эх, видели бы вы моих предков! Они были вчетверо крупнее меня, мамонтами назывались. А я от хвоста до хобота едва семи метров достигаю. Когда родился, весил около девяносто килограммов, а сегодня, когда мне сорок лет, вешу я четыре тонны.

— Четыре тонны?! Ну и ну! — удивился Попугай. — Представляю, сколько ты ешь! Кстати, чем ты питаешься?

— Травой, листьями... Вот этим хоботом, а он длинной в два метра, я запросто опускаю ветви деревьев. И фрукты люблю. Вот что я ем всю мою долгую жизнь, и живу я двести лет.

— Как? Неужели двести лет? — поднял в изумлении голову Верблюд.

— Да, я могу жить двести лет. Но кто дает мне возможность дожить до этого возраста? Люди охотятся на меня, в большой цене мои бивни и кости. Чего только не изготавливают из них.

— Ох, чтоб им провалиться, — проговорил Верблюд и в сердцах плюнул в Обезьяну. — Во всем ты виновата.

— Бедный мой отец, — продолжал Слон. — Когда почувствовал, что умирает, ушел из стада далеко-далеко, на кладбище слонов, где огромное количество бивней и костей. Люди по сей день пытаются найти это кладбище и не могут. Эх, бедный мой отец..

У Слона на глаза навернулись слезы.

— Живешь на свете двести лет и горюешь?! Ес-

ли бы я жила столько, то в конце жизни не горевала бы, а с пляской отправилась бы на кладбище! — воскликнула Кенгуру. — Вот так, глядите! — И Кенгуру, танцуя, прошла по автобусу.

В такт пляске захлопала Обезьяна и следом пустилась в пляс. Не отстали от нее и другие, даже Слон затопал на месте.

Сизмара глаз не мог оторвать от такого необычного зрелища — прежде он никогда не видел, чтоб звери танцевали.

— Ой! — неожиданно вскрикнул он и затормозил.

— Что случилось? — испугались пассажиры.

— Кто-то ползет по шее, — сказал Сизмара. Обезьяна подскочила к нему и сняла с шеи малюсенькое насекомое.

— Муравей... — произнесла она, недоуменно разглядывая на ладони муравья.

— Здравствуй, Муравей! — подлетел к ним Попугай.

— Здравствуйте, здравствуйте, — запищал Муравей.

— Откуда ты появился? — удивилась Кенгуру.

— Я вместе с вами ушел из зоопарка.

— Вот это да!.. — засмеялся Слон. — Тебя ведь простым глазом и не увидишь, разве что надев очки, те самые, что так любит Обезьяна.

— Ну и что с того, что я мал. Я так же, как и вы, живу на этой земле и работаю.

— Представляю, сколько ты наработаешь!.. — засмеялась Обезьяна.

— Я хочу дружить с вами, хочу вместе с вами жить в добром зоопарке. Возьмите меня с собой!

— Возьмем, возьмем! — пообещали все.

— Но с одним условием, — вставил Сизмара. — Ты должен рассказать нам о себе.

— Охотно! — согласился Муравей и вскарабкался Сизмаре на колено. — Ты поезжай, а я буду рассказывать.

— Представляю, что это будет за рассказ... — не унималась Обезьяна.

Муравей, обидевшись, сполз с колена Сизмары, забрался Обезьяне в ухо и так укусил, что она взвыла от боли.

— Так тебе и надо! Только и знаешь, что смеяться над другими, — подал голос Страус.

— Да не обращай ты на нее внимания, дружище, вылезай из уха, мы все готовы тебя слушать, — сказал Попугай.

Муравей переполз Сизмаре на плечо и, отдохнув с минуту, начал свой рассказ.

— Наши царства рассыпаны по всей земле.

Обезьяна при слове царство чуть было не прыгнула, но, спохватившись, вовремя смолчала.

— В каждом царстве, — продолжал Муравей, — своя царица, которой подчиняются абсолютно все муравьи. Видели вы летающих муравьев?

— Конечно же, — подтвердил Попугай.

— Это наши родственники. Но должен признаться, лодыри и бездельники. Поэтому мы их гоним от себя. А мы строим города, крепости, припасаем на зиму еду, воюем с соседними племенами. Мы всегда в работе, лентяев среди нас нет.

— Вы воюете? — оживился Слон.

— О чем речь! У нас и войско есть, и главнокомандующий.

— Из-за чего идут у вас бои? — спросил Попугай.

— Да из-за всего, из-за еды, из-за рабочих рук... У нашей царицы имеются даже разведчики, пошлет она своих разведчиков в лагерь противника — и будет досконально знать обо всем.

— Гляди-ка ты на них! — в удивлении воскликнула Кенгуру.

— По приказу царицы войско боевых муравьев переходит в атаку. Но враг не дремлет — там ограждают свой лагерь, надежно укрывают детей, прячут еду. Война есть война, на поле брани вы увидите большое число раненых и убитых. Если повезет и мы одолеем врага, то заберем с собой пленных, которые будут работать на нас, а если нет... Однако должен заметить без хвастовства, что сильнее муравья нет никого на целом свете.

— Хи-хи-хи, — засмеялся Слон. — Смешно... Тебе ли говорить о силе?..

— Ты напрасно смеешься. Если, к примеру, на тебя навьючить груз с тебя весом, ты надломишься,

а мне ничего не стоит взвалить на себя груз раз в десять больше того, что я вешу.

Стояло лето. В открытые окна автобуса было слышно, как шуршат шинами колеса. Внезапно откуда-то снизу послышался странный звук. Все насторожились. Сизмара затормозил.

— Что это скрипит? — испуганно огляделась по сторонам Обезьяна.

— Неужели автобус испортился? — забеспокоился Сизмара.

— Сейчас узнаем! — сказал Попугай и вылетел в окно.

Вслед за ним вышел из автобуса Сизмара и открыл багажник. Попугай залетел в багажник и вскоре вылетел оттуда с каким-то насекомым в клюве.

— Это же сверчок! А я было испугался, — сказал Верблюд, когда Попугай вернулся в автобус.

— Да, я Сверчок! И уже давно живу в этом багажнике.

— Правда? — удивился Слон.

— Да, живу себе преспокойно и пою. Меня даже называют живой скрипкой.

— И ты не устаешь — все стрекочешь да стрекочешь...

— А вы знаете, как мне удается ночная музыка! Я тру друг о дружку крылья вот так... — Сверчок быстро-быстро задвигал крыльями. И вновь послышалась уже знакомая и понятная всем песня. — Ну, как, нравится?

— Хватит, хватит, у меня вот-вот лопнут перепонки в ушах, — заворчала Обезьяна.

Сверчок перестал скрипеть.

— Кстати, коли речь зашла об ушах, вам, вероятно, интересно будет узнать, что уши у меня расположены ниже колен. А благодаря коленям я высоко прыгаю и, как кузнечики, могу летать на расстояние в тысячи километров.

— Ну да, скажешь тоже — летать... — Страус бросил взгляд на свои длинные ноги.

— Что, обидно? Ты ведь птица, а летать не можешь,.. — поддела Страуса Обезьяна.

— А как вы думаете, сколько у меня глаз? — поинтересовался Сверчок.

Обезьяна тотчас принялась считать и в удивлении всплеснула руками:

— Надо же, целых пять!

— Для чего тебе столько глаз?

— Тремя глазами я вижу близко, а двумя — далеко.

— Хитер ты, Сверчок, даром что бесхвостый! — воскликнула Обезьяна.

— Что касается хвостов, так у наших самок в самом деле есть хвосты, которыми они роют землю, чтоб отложить в лунках яйца, — похвастал Сверчок и завел свою долгую песню.

— Представляю, какая стоит трескотня, когда поет все ваше семейство, — захлопал ушами Слон.

— Смотрите, смотрите, мы выезжаем за город! — воскликнул Попугай. — Скоро покажется лес, в котором мы собираемся строить свой зоопарк.

— А ты бы рассказал о себе, — предложил Слон. — Ведь не каждая птица может похвастать таким клювом.

— Мы, попугаи, живем в жарких странах, как и вы, слоны. А благодаря такому цепкому клюву я крепко держусь за ветку и могу так вертеться, что мне позавидуют даже обезьяны. Мы можем говорить, как люди, передразнивать кошек и собак...

— Верно, верно! — подтвердил Слон.

— Мы очень любим детей и доверяем им. Ведь неспроста я обратился за помощью именно к Сизмаре. Ой, осторожнее, Сизмара, впереди дерево!.. Приехали, приехали, останови автобус!

Сизмара так резко затормозил, что все попадали со своих мест, а его самого так качнуло, что он... проснулся. И что же видит? Сидит он не в автобусе, а у себя дома, в кресле.

И тут он очень пожалел, что все это ему только приснилось.



Б Ы Л Ь

Шоферы, известно, народ разговорчивый. Вот и в тот вечер, собравшись в автопарке, наперебой рассказывали они всевозможные истории, балагурили, и не заметили, как забрела на территорию парка серая собака.

— Гляди-ка, откуда она взялась? Наверняка хозяйина потеряла! Дядя Вардэн, теперь скучать тебе не придется, принимай гостя, а гость, как говорится, от Бога, — сказал один и ласково потрепал собаку.

Та зажмурилась.

Кто-то побежал к своей машине и принес собаке оставшуюся от обеда колбасу.

Шоферы постепенно разбрелись по домам, и Вардэн остался один. Он закрыл ворота, зашел к себе в сторожку, сел на топчан, достал из коробки папиросу и закурил. Собака, обойдя двор, робко заглянула в сторожку и легла перед Вардэном.

С тех пор она у него и поселилась, уже через неделю узнавала шоферов, радостно повизгивая, встречала их на рассвете, а они всегда старались побаловать ее чем-нибудь вкусным.

Собака охраняла весь парк, а Вардэн в надежде на нее, спокойно спал в сторожке, ведь даже малейший шорох привлекал ее внимание. А в мае она принесла четырех щенков и оказалась очень заботливой матерью.

Как-то раз один из шоферов вернулся в парк пораньше, в мгновение ока преодолел подъем и собрался было припарковать машину, как услышал какой-то визг. Он остановился и стремглав выскочил из машины. Оказалось, что он задавил одного серого щенка. Глухо поскуливая, оттащила собака мертвого щенка к стене, разрыла землю, уложила в ямку щенка, лапами забросала землей и легла на могилку.

Утром ее нашли мертвой. Щенки ползали вокруг нее и жалобно скулили.

Переводы Виктории **ЗИНИНОЙ**



Камилла КОРИНТЭЛИ

* * *

Я закидываю невод в небо,
Чтобы выловить там моего бога
И спустить его вниз —
К себе, на мою
 землю.

Землю, которая
 страшной и опасней
Грозового неба,
Землю, которая
 щедрей и прекрасней

Звезд
 и лунного света.

..И в вое осеннего
 дикого ветра

Я слышу
 его призыв.

И разом мне мир весь постыл!

Я цепи любые
 рву на бегу,

Спеша на голос трепетный, властный,
Блуждающий где-то, в неведомой тьме!

И сотни загадок мне задают
 встречные сфинксы,

И сотни преград,
 нерушимых оград

Преодо мною встают

В пути,

Пронизанном красным
 отравленным

светом...

Как в лесу заповедном — олени,
 В этих комнатах бродят тени
 И звучат голоса тех двоих...
 Они были счастливей

богов самих!

Нет земли обетованной,
 Тучных нив,
 Виноградников цветущих,
 Смоковниц плодоносящих, —
 Нет земли обетованной
 Для одинокого сердца.

Когда же есть сердце,
 Для тебя песней звенящее,
 Для которого твое сердце горит,
 Когда есть душа,
 На одном языке с твоей говорящая,
 И тело —
 с твоим плоть единая...
 Когда обрел все это, —
 Если обрел все это! —
 Землю обрел обетованную,
 И пустыня обратилась
 Тучною нивою,
 Виноградником цветущим
 И рощей смоковниц плодоносящих!

Эпитафия

Н. Т.

Для тебя — отзвонили колокола...
 Для тебя земля оказалась мала —
 В просторы иные душа ушла.
 Было так щедро свыше дано —
 Мало, так мало осуществлено.
 Были надежды... Осталось одно:
 Горький табак — и сухое вино.

1.

Я пришла из другого мира...
Я храню песнопенья песков.
Сердце мое жаждет мира —
Не безмятежных снов.

...Сердце мое — воск и камень...

В волосах моих — цветок мирта,
На губах моих — тайны покров.

...Губы мои — лед и пламень...

В глазах моих зеленоватых —
Мудрость
 минувших
 веков.

2.

Тебе, любовь, я жертвы приношу
Тысячелетия подряд...
Перед тобой — о, лишь перед тобой! —
Я голову клоню,
И ты меня целуешь невпопад,
И невпопад
Клеймишь кровавыми клеймами,
Чтоб раны никогда не заживали
И никогда не остывала кровь, —
Горячая, как зной
Египетского
 лета!

* * *

Эта песня была — без слов.
Эта птица — из сказок и снов...
И едва лишь отцвел гранат,
Улетела в неведомый сад...

Как в лесу заповедном — олени,
 В этих комнатах бродят тени
 И звучат голоса тех двоих...
 Они были счастливей
 богов самих!

* * *

Нет земли обетованной,
 Тучных нив,
 Виноградников цветущих,
 Смоковниц плодоносящих, —
 Нет земли обетованной
 Для одинокого сердца.

Когда же есть сердце,
 Для тебя песней звенящее,
 Для которого твое сердце горит,
 Когда есть душа,
 На одном языке с твоей говорящая,
 И тело —
 с твоим плоть единая...
 Когда обрел все это, —
 Если обрел все это! —
 Землю обрел обетованную,
 И пустыня обратилась
 Тучною нивою,
 Виноградником цветущим
 И рощей смоковниц плодоносящих!

Эпитафия

Н. Т.

Для тебя — отзвонили колокола...
 Для тебя земля оказалась мала —
 В просторы иные душа ушла.
 Было так щедро свыше дано —
 Мало, так мало осуществлено.
 Были надежды... Осталось одно:
 Горький табак — и сухое вино.

1.

Я пришла из другого мира...
Я храню песнопенья песков.
Сердце мое жаждет мира —
Не безмятежных снов.

...Сердце мое — воск и камень...

В волосах моих — цветок мирта,
На губах моих — тайны покров.

...Губы мои — лед и пламень...

В глазах моих зеленоватых —
Мудрость
 минувших
 веков.

2.

Тебе, любовь, я жертвы приношу
Тысячелетия подряд...
Перед тобой — о, лишь перед тобой! —
Я голову клоню,
И ты меня целуешь невпопад,
И невпопад
Клеймишь кровавыми клеймами,
Чтоб раны никогда не заживали
И никогда не остывала кровь, —
Горячая, как зной
Египетского
 лета!

* * *

Эта песня была — без слов.
Эта птица — из сказок и снов...
И едва лишь отцвел гранат,
Улетела в неведомый сад...

Ну а жизнь — своим чередом.
Разорен наш любимый дом,
Где-то близко гремит война
И грозит мир спалить дотла.



* * *

Может, поздно, может, слишком рано
Встретиться довелось.
Оттого и на сердце — рана,
Оттого и дороги — врозь.

Оттого неизбежно ярок
Свет, что застит нам всех,
Или был то Божий подарок
И не будет светлее вех...

* * *

Знаю: пока жива —
Не забываться сном.
И не искать спасенья
В вине, в табаке!..
Не комкать, не рвать
Кружевных изящных платков
И не лежать в отупенье,
В горячке...

Нет. Все раздробив,
Все проглотив,
Тайной слезою запив,
Я встану.
Губы облизну каленым языком.
Один нетвердый шаг —
И вновь уверенно пойду,
Рукой удерживая —
Нет, не траурного шарфа складки! —
Сердце,
 кровоточащее в груди.

**В час неурочный не спеши:
Огня в окне ты не гаси...**

Из года в год,
Из года в год
Заря весенняя встает
И пламенеет небосвод,
Свободный от мирских забот.
Из года в год,
Из года в год
Свой путь свершает хоровод
Светил. За полосой невзгод,
Порой ветров, небесных слез
Приходит май
с охапкой

грез.

Волнует кровь граната цвет
В садах...

В нежданный час,
В пока еще безвестный год
Корабль мечты
войдет в свой порт.



Раковина

На́ берег — раковиной — со дна моря я
брошен волною...
Что со мной станется? — все здесь иное,
время иное...
Белая длинная берега линия,
пусто, нелепо...
Берега линия с тенью орлиною —
серое небо...
Но тосковать и печалиться надо ли,
стоит ли, брат мой? —
Все мы случайно здесь, все мы ненадолго —
скоро обратно...
Между приливами краткая пауза —
время отлива...
Катятся волны, играют с парусом
неторопливо...
Там и моя волна — вот ее южные
ветры рисуют...
Только обидно, что тайну-жемчужину
в глубь унесу я...

Перевод Юрия ЮРЧЕНКО

Будет только листопад

Листья — резные рамки для маленьких фотоснимков,
приколотых к самому сердцу саднящих воспоминаний...
Как караван снежинок, как легкая белая вьюга,
Кружили беззаботные дни, и очарованное детство
Не знало, что в последнем танце
прощается с собой...
Собери опавшие листья, принеси их домой, осторожно
в эти рамки карточки вставь, осторожно повесь их
на стену,

а на двери дома — табличку: «Фотовыставка детства».
В книге отзывов выведут дети,
что «Детство» — произведение искусства,
серьезное и впечатляющее... И потом, подражая тебе,
соберут опавшие листья.

Дворники больше всех обрадуются их забаве.
Мэр города обалдеет, узнав, что остались без дела
Дворники...

Листопад

будет тщетно пытаться выстелить сады и газоны —
Все до последнего листика поднимут детские руки.
Будет кружить листопад — но палых листьев не будет.

Не сжигая палые листья,

Мы осчастливим деревья...

Картины в рамках из листьев

Украсят детские комнаты...

Однажды, через много лет, распахнешь свои окна в
осень

И увидишь, что в целом мире нет больше палых

листьев—

Есть только листопад. И будет один листопад...

Вот когда ты узнаешь настоящую радость.

С балкона девятого этажа

Свел тебя с ума этот город, тебя — деревенского
парня,—

Позабывшего дым очага и босоногую радость
шлепать по теплым лужам. Совсем, похоже, забыл

Сиротство взлетающей с пашни

цапли и крик петушинный: «Живы ли вы?» — Увы...

Вспоминаешь ли след от арбы, перешагивая

трамвайные рельсы?

А этот подъемный кран — чем не колодезный

журавль?..

Когда ты бываешь в цирке и видишь, как мечутся

лошади

по манежному кругу — правда ведь в памяти

всплывает

поле, где вольные кони танцевали друг с другом

и даже лягались, а ты — был их единственным зрителем!

Что укололо сердце? И сердце это или подушка — малюсенькая для иголок?.. Побледневшие губы ран сейчас так отчетливо видны, что кто-то может подумать:

раны твои улыбаются.

Что поделаешь, братец, ты должен заpastись терпением!

Как они пели!.. Аоуо-ёй-ёй!..

Парень, как они пели! С каким наслаждением пили красное вино... как пели!.. Как они плакали, парень!

Откуда у них столько слез... О, если б им только позволили —

они бы вместе с оплаканным спустились в его могилу.

Сегодня, сейчас — когда

с высоты девятого этажа, со своего балкона

ты смотришь на вершины тополей — разве совесть тебя не мучает?

(...тут бы мне помолчать — разве не жаль паренька?)

В детстве ты, бывало, выходил и с балкона

мегрельской оды

смотрел на близкие тополя, бегущие вдоль ограды...

Думал, вот бы сейчас

забросило меня на верхушку, я бы весь свет увидел.

Вот и смотри теперь в чистую реку памяти.

Стой и смотри теперь с балкона девятого этажа

в окаменелые воды. Смотри в этот старый аквариум,

где рыбки однажды умерли — ведь некому о них

позаботиться...

Перевод Татьяны МУЛЛЕР.



де

ю

в

н

л

1

Рассказы

МАЦГИ

Лесистые склоны увенчанных снеговыми шапками гор мягкими складками спадают в тихое ущелье. По обеим сторонам гребня в пазухах гор приютились деревушки. При свете луны повисшие над ущельем дома с бойницами отливают серебром. Порой неспешно пронесется сквозь оголенный осенний лес холодный ветер, пробежит озноб по скелетам деревьев и вновь все затихает... Тропа перерезает лес, спускается вниз и с опаской следует вдоль самой кромки гор. Тень всадника распростерлась на тропе, преломилась на изборужденной временем скале и затрепетала. У привставшего в стремени всадника горят глаза, он пристально вглядывается в темноту и пронзительным гиканьем заглушает охватившее его непривычное чувство страха. Мчится конь, слепо подчиняясь неистовой воле хозяина.

Вдруг щелчком рассыпается тишина и вслед за протяжным ржанием коня тянется ровный удивленный вскрик всадника. Тяжело падает тело, что-то отчетливо и долго трещит, потом с тихим шорохом сыплется песок, подпрыгивая, катится камень, и вскоре вновь сгущается в ущелье покой.

На околице деревни завыла старая овчарка.

* * *

— Я должен убить Мацги! — скрипя зубами говорил, сидя возле очага, Баталби, качал головой, сплевывал и прутом засыпал плевков золой.

Жена готовила ужин. Тенью шмыгала по комнате, вздрагивала от каждого окрика мужа, останавливалась, притихнув, и снова бралась за дело. В дальнем темном углу комнаты спокойно спали двое малышей.

За спиной Баталби, словно колдунья, стояла на коленях старая Хатуни, тетка отца. Крохотное, изборожденное морщинами лицо ее было бледно. Прищурившись подслеповатыми глазами, она зло уставилась на свои морщинистые руки и тонкими, как нитка, губами посылала проклятия этому миру.

Когда угли припорашивало пеплом, Баталби прутом разгребал их, словно от яркости огня зависело его настроение.

Отсветы трепетали по стенам, в ожидании гостя трепетала и женщина.

Хатуни часто посматривала на окно, бросала взгляд на луну, и губы ее дрожали сильнее.

Где-то выла собака.

Женщина накрыла на стол, но не рискнула позвать мужа, стояла невдалеке, скрестив руки на груди, и смотрела на него.

— Баталби! — послышался снаружи чей-то окрик.

Супруги вздрогнули. Муж очнулся раньше, вышел из комнаты и через минуту вернулся вместе с Тома.

— Это, оказывается, Тома, — сказал Баталби жене.

— Слава тебе, Господи!.. Ты как раз вовремя, Тома, мы только собирались ужинать, — сказала женщина.

Сели за низкий стол. Хатуни пересела на место Баталби и уставилась на огонь.

Хозяин произнес тост за гостя и осушил стакан водки. Выпил и парень. Женщина подала похлебку. Тома обмакнул кусочек хлеба, прожевал его и сказал: — Мацги с лошадью скатился в пропасть!

Баталби выпрямился, уставился бессмысленным взором на Тома и долго-долго разжевывал кусок хлеба. Жена потупилась, почувствовала безмерное облегчение, словно выронила огромный камень, и спросила:

— Как?

— Пьян был... Кто скачет по этим тропам на коне?! Тем более ночью, — сказал парень.

Хатуни обернулась к мужчинам, суровое выражение ее увядшего лица чуть смягчилось, и она снова уставилась на огонь. Из угла комнаты отчетливо

послышалось спокойное дыхание. Женщина взглянула на детей. Баталби продолжал жевать.

— Мы его сейчас вытащим... Очень сильно разбился несчастный... Собака его нашла, а мы на вой собаки шли... За упокой его души! — сказал Тома и выпил.

Молча выпил и Баталби.

Вскоре ужин закончился. Гость ушел, и все легли спать. Какое-то время жена прислушивалась к бесконечному ерзанью мужа, а потом сама не заметила, как уснула.

На следующий день Баталби притащил из леса заранее заготовленные бревна. Нарубил дров... К вечеру отослал все семейство к соседям — хотелось побыть одному. Словно лунатик, слонялся по комнате, натыкался на стулья, опрокидывал их... Потом присел к столику и маленькой рюмкой с наслаждением допоздна пил водку. Временами, скрежеща зубами, покачивал головой, бил себя кулаком в грудь, сплевывал в холодный камин и взывал, глядя в темное окно:

— Почему я убил Мацги?

КОРОТЫШКА

В глубине узкой столовой стояло три стола. За одним из них сидел Тома с приятелями, за другим деловито расположились представительные мужчины. Остальную площадь занимали прилавки и высокие столики. Буфетчик, уперев кулаки в прилавок, неотрывно глядел в незримую точку на полу. Перед третьим столом стояли трое — двое были высокими и худыми, третий тоже высокий, но толстый и широкоплечий. Все трое — с длинными, заостренными усами. Толстый безумолчно говорил, худые с почтением слушали его. На столе стояли большие пивные кружки.

От улицы столовую отделяла стеклянная стена. На улице группами толпились люди. На краю тротуара сидели старики и перебирали четки. Из-под неисправной, завалившейся на бок машины торчали ноги

шофера в туфлях с оторванными подметками. Дети, сидя на корточках, рассматривали машину. Под деревом сидел пьяный носильщик и что-то чертил пальцем на земле... День клонился к вечеру.

Почти бесшумно проскользнул в столовую низенький щуплый мужчина в длинном широком пиджаке, штанины брюк подметали грязный пол. И фуражка на нем была большая, казалось, если бы не уши, она свалится ему на подбородок. Вошедший скользнул окрест взглядом и пристроился подальше от прилавка.

— Пожалуйста, налейте мне пиво, — робко попросил коротышка.

Буфетчик даже не оглянулся, занятый мыслями о своем больном ребенке.

Коротышка повторил свою просьбу.

Стоящий за столиком усатый здоровяк нечаянно опрокинул локтем кружку. Маленький человек съехался и растерянно взглянул на этих троих.

— Что ты сказал? — сипло спросил буфетчик.

Коротышка растерялся, потом, собравшись с духом, сделал шаг к прилавку и тихо сказал:

— Я хотел бы выпить пиво.

— Приглашаю к нашему столу! — провозгласил толстяк и хлопнул вошедшего по плечу.

Коротышка робко подошел к столику.

— Это Миша, мой сосед! — представил его верзила своим собеседникам.

Те вскользь оглядели гостя и вновь уставились на толстяка.

Подборок Миши едва достигал края стола, а голова его была величиной с пивную кружку.

Из-за прилавка вышла женщина, убрала осколки, протерла пол и ушла.

Тома смотрел на Мишу.

— Да что там холодильник?! — продолжал толстяк. — На этой неделе я один три пианино поднял на третий этаж.

— Расскажи, как ты маленький автобус поднял! — сказал один из друзей.

Толстяк самодовольно махнул рукой, поднял полную кружку — произнес какой-то тост — и залпом выпил. Те двое тоже выпили. Миша завороченно смотрел, как верзила покусывал лошадиными зубами

хвост тощей рыбки... Потом он вдруг почувствовал на себе взгляд Тома, встрепенулся, засуетился и, будто бы ненароком, спрятался за пивными кружками. Тома видел только пуговицу его большой кепки, но все же не отводил взгляда... Коротышка медленно попятился к выходу, быстро открыл дверь и шмыгнул на улицу.

Сквозь стеклянную перегородку Тома видел, как коротышка перешел на противоположную сторону и прошел мимо сидящего под деревом носильщика. Тот, не поднимая головы, бросил Мише несколько слов, водя пальцем по песку. Миша остановился, постоял некоторое время, потоптался на месте. Пьяный уже не обращал на него внимания, и коротышка, оглядевшись, вошел в подъезд двухэтажного дома с потрескавшимися стенами...

Улицу накрыли сумерки.

* * *

Через несколько дней, на рассвете, Тома подошел к столовой. У входа на ящике, прислонив к двери двуствольное охотничье ружье, сидел ночной сторож и курил. Вокруг не было ни души, лишь усатые дворники длинными метлами подметали улицу, нарушая рассветную тишину. Тома поздоровался со сторожем, наклонился к нему, прикурил и стал рядом. Сторож недоверчиво измерил Тома взглядом и уже не спускал с него глаз.

— Мне нужно повидать одного человека, может, знаете его? — спросил Тома.

Сторож помедлил с ответом, взглянул на ружье, что под рукой стояло, и только потом сказал:

— Какого человека?

— Кажется, он живет там, — Тома указал пальцем на двухэтажный дом. — Он такой маленький, ходит в одежде не по росту. И кепка у него большая, с пуговицей...

— Понятно, — прервал его сторож. — Мишу здесь все знают. Да, он живет в этом доме, работает рядом, на керосиновом складе. Зачем он тебе?..

— Хочу познакомиться.

— Как только войдешь в подъезд, первая дверь налево — его.

Тома поблагодарил сторожа и направился к дому.

— Только он не откроет дверь! — крикнул вдогонку сторож.

Тома вернулся.

— Ты правда не знаком с Мишей? — снова удивился сторож.

Тома улыбнулся:

— Правда.

— Ладно! — сказал сторож. — Ладно!.. Только ты не подходи, а то он испугается.

Сторож встал, потянулся, потом улыбнулся, продемонстрировав желтые зубы, и бодрым шагом направился к двухэтажному дому. Он подошел к закрытому окну и постучал в него перочинным ножом.

...В обычные дни Миша во сне видел свою улицу, соседей и знакомых. Легко и спокойно шел он по улице, вежливо здоровался со всеми, все ему в ответ также учтиво кланялись. Шел он до конца улицы, потом возвращался обратно и вновь раскланивался со всеми. Это был весь сон: хождение по улице туда и обратно, знакомые лица и нескончаемые поклоны влево и вправо.

...Сторож стучал в окно. Спустя время в комнате кто-то осторожно кашлянул, затем тяжелые темные занавеси раздвинулись, и в темноте показалась маленькая голова и испуганные глаза Миши.

— Выйди!.. Какой-то парень к тебе... Наверное, натворил чего-нибудь, теперь получишь на орехи! — сказал сторож.

Лицо у Миши вытянулось, челюсть отвисла.

— Скрутит он тебя, как веревку, такой верзила... да еще все прыгает на месте, как боксер... Что ты такое натворил, несчастный?

— Я ни с кем не дрался, — с трудом произнес Миша.

— Тем хуже для тебя! Наверное, украл керосин и пришли арестовывать... Иначе кому ты нужен в такую рань?.. Да еще говорит, что не знаком с тобой... Впрочем, вот он здесь, я спрошу его... Зачем пришел в такую рань? — крикнул сторож.

— Чтобы Миша не успел уйти...

— Это мое дело, говорит, — «перевел» сторож Мише. Подозвал Тома и спросил: — Где ты работаешь?

— Учусь...

— Скрывает, — сообщил сторож Мише. — Плохи твои дела. Кажется, он собирается и арестовать тебя, и избить... По его лицу видно.

— Не выйду, — тихо произнес коротышка.

— Не выйдешь, так я тебя побью! — пригрозил сторож, а потом крикнул Тома: — Сейчас, говорит, выскочу и отлуплю этого бездельника.

— За что? — снова улыбнулся Тома.

— Я этого не говорил! — испугался Миша.

— Я лучше знаю, говорил ты или нет... Вот он уже идет сюда. Наверное, шагнет прямо в окно и все здесь разнесет...

Тома стоял возле столовой и с улыбкой глядел на сторожа.

— Будь другом, останови его, успокой... Ты ведь знаешь, что я не мог сделать ничего плохого. Задержи его. Сейчас я оденусь и выйду, — засуетился Миша.

Сторож отошел от окна, подошел к Тома и сказал:

— Сейчас выйдет... Бить собираешься его или арестовывать?

— Ни то, ни другое, — пожал плечами Тома.

— Очень он зол на тебя, — безнадежно махнул рукой сторож. — Ругается и грозитя.

Ящик на лестнице у входа в столовую был накрыт старой выцветшей шинелью. Сторож сел на него, закурил сигарету и стал глядеть в сторону.

Страх, точно врожденная болезнь, не отпускал Мишу всю жизнь. Сколько он себя помнил, боялся всех и вся. Страх навязчиво преследовал его и в детстве, заставляя постоянно вступать в драку. Чтобы избавиться от страха, он, и повзрослев, постоянно впутывался в какие-то истории. Из-за этого он два раза оказался в тюрьме и заслужил репутацию задиры и драчуна. Это его пугало, и он большую часть времени проводил дома, стараясь как можно реже появляться на людях... Но однажды и к нему пришло избавление: посреди драки он вдруг признался сопер-

нику, что боится. И тот в ту же минуту отпустил его. Миша удивился и отныне в трудной ситуации всегда прибегал к этому спасительному слову «боюсь». Наконец-то он вздохнул свободно. Так или иначе жизнь его протекала уже относительно спокойно...

Тома ходил взад-вперед. Дворники поливали улицу из леек, выводя на тротуарах восьмерки. Открылся хлебный магазин. У прилавка, вынесенного прямо на улицу, выстроилась очередь — в основном старики. Подъехала грузовая машина. Из нее выгрузили ящики с бутылками молока. Продавец стал за прилавок. Очередь разбухла и пришла в движение.

Миша долго не появлялся. Сторож перекинул ружье через плечо, взял под мышку ящик, покрытый шинелью, и куда-то исчез. Продажа молока подходила к концу, вдоль прилавка стояло всего несколько женщин. Издали слышался равномерный гул машин. Город входил в привычный ритм. Миша вышел из подъезда и посмотрел в сторону столовой.

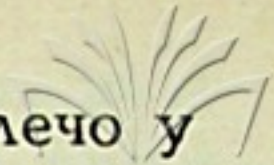
Вместо страха он ощутил вдруг непривычную пустоту. Страх обычно угнетал его ожиданием, неопределенностью, а потом он уже не чувствовал ничего, кроме полного равнодушия.

«Никогда не видел его», — наморщив лоб, напряженно думал Миша и пристально вглядывался в приближающегося к нему с улыбкой Тома. «Наверное, этот чудака с кем-то меня перепутал... Хорошо, что прохожих много... Хотя этот, может, и не побьет, так, стукнет пару раз... Хорошо бы не получать кулаком в челюсть, иначе недели две придется есть только суп. И в бок больно... Только бы не в бок и не в челюсть!.. Лучше всего, если угодит кулаком по лбу. Тогда я тотчас упаду и не почувствую боли. А он обрадуется, что так легко свалил меня и отстанет... Если бы у меня было хоть немного сил, я бы сам подставил ему лоб... Да вот беда — даже пошевелиться не могу, совсем мочи нет».

— Здравствуйте! — сказал Тома, неловко улыбаясь, протянул руку. — Несколько дней назад я видел вас в столовой... Может, помните меня?

— Нет, — тихо сказал Миша. — Не помню.

«Грудь у него колесом, плечи широкие, руки мус-



Экзотический
Библиотечный фонд

кулистые... Может, он левша?... Нет... Правое плечо у него шире и чуть выше...»

Наступило неловкое молчание.

— Если вас не затруднит, может, пройдемся немного, — предложил Тома. Было видно, что он волнуется.

«Согласен, только буду идти слева от тебя... Кто знает, когда тебе вздумается врезать?! Повалить ты сможешь меня и левой, но все-таки она у тебя, наверное, послабее...»

Они не спеша пошли вдоль улицы.

— Мне в столовой ваше лицо показалось знакомым, — волнение Тома прошло, он успокоился. — У меня есть родственник, чьи следы мы давно потеряли... Того человека звали, как вас, и мне показалось, что вы похожи, батоно Миша, и потому мне захотелось встретиться с вами.

Чтобы придать своим словам убедительность, Тома весело рассмеялся.

— Я здесь живу от рождения, — тихо ответил Миша. — Скоро мне будет сорок. Из этой квартиры я никогда не переезжал, так что потеряться я не мог!.. Кроме того, у меня только бабушка... И та живет в деревне... Очень старая, даже не встает с постели. Добрые соседи помогают... Есть еще у меня один родственник, племянник моей бабки... Остался холостяком, спился несчастный... Последний раз я видел его лет десять назад... Вот и вся моя родня... Батоно...

— Меня зовут Тома, — вставил Тома.

— Вот и вся моя родня, батоно Тома!

Снова повисло молчание. Тома свернул на улицу, ведущую к проспекту. Миша шел следом, словно на привязи. На нем были тот же широченный пиджак и длинные брюки. На голове — та же большая кепка с пуговицей.

Тревога вновь охватила Мишу, страх зашевелился где-то глубоко в груди. В такие минуты у него путались мысли... Сейчас он почему-то вспомнил чайку, касающуюся крылом гребня волны... Увидел безоблачное закопченное небо — почерневшее от дыма, что валил из широкой трубы маячившего на горизонте корабля... Потом вспомнил соседскую злую, грязную, лохматую собаку... Внезапно это видение вытесни-

лось другой странной картиной: по широкому полю, втаптывая сапогами траву в желтую землю, с гулом двигались нескончаемые легионы солдат...

Тома и Миша вышли на проспект. Тома все никак не мог завязать разговор и виновато посматривал на коротышку. Миша не отрывал взгляда от выглядывающих из-под широких штанин кончиков своих желтых ботинок и старался не отставать от него.

— Прекрасная погода, может, пойти на море искупаться... — предложил Тома.

Окруженное горами большое водохранилище близ городской черты жители называли морем. Миша, сморщив лоб, задумался, потом, косо взглянув на Тома, произнес надтреснутым голосом:

— Если хотите, чтобы и я пошел с вами... пойду.

Подшли к киоску. Тома встал в очередь и купил по паре все свежие газеты. Половину он протянул Мише, а сам, развернув одну, стал ее просматривать. Миша сунул сложенные газеты в карман и вновь устоялся на кончики своих ботинок.

— Не удивляйтесь, батоно Миша! — Тома оторвался от газеты, сложил ее. — Когда я увидел вас в столовой, очень захотелось познакомиться с вами. Для этого пришлось пойти на маленький обман — насчет родственников я сказал неправду... Некрасиво получилось. А что, собственно, худого в том, что человеку захотелось познакомиться с кем-то и пообщаться?

Тома ждал ответа. Подозрительный взгляд коротышки он встретил улыбкой. И тотчас Мишу покинуло гнетущее напряжение, он выпрямился, вскинул голову и весело рассмеялся.

— Дети есть у вас, батоно Миша?

— У меня нет жены, откуда детям взяться?!

Громкий смех Тома свидетельствовал о том, что ответ ему понравился.

В ожидании машины они остановились в конце проспекта. Подъехала машина. После долгих уговоров Миша согласился сесть вперед.

Машина осторожно пробиралась по узким улочкам.

— Если вы не против, я бы пригласил мою подружку, — сказал вдруг Тома.

Миша оторвался от своих мыслей и ответил упавшим голосом: — Как хотите...

Остановились у дома Баи.

Миша не вышел из машины.

Пока он ждал, у него вновь испортилось настроение. Словно что-то размяло его сознание, как тесто. Вспомнилась увиденная когда-то в музее картина, на которой была изображена обнаженная женщина. Потом почему-то всплыло в памяти время, когда он работал в конюшне, и черный жеребец так ударил его копытом в бок, что он на две недели угодил в больницу... Вспомнил весенний лес, сливовые деревья в цвету и пестрых коров с округлыми боками, бредущих по узкой тропе и мерно жующих траву... Потом он увидел огромное поле с полчищами солдат, закованных в латы, тесными рядами, плечом к плечу ступавших тяжелым шагом, безжалостно растаптывающих все на своем пути...

Машина стояла у тротуара, шофер читал газету. Бая и Тома сели на заднее сиденье, странное одеяние коротышки удивило девушку, но она не подала виду и, улыбаясь, поздоровалась. Миша покраснел, какая-то неведомая сила заставила его кивнуть в ответ. Потом он отвернулся и стал глядеть на улицу.

До моря было всего минут десять езды.

Машина часто останавливалась на перекрестках... Потом выехала из города и стала подниматься в гору. Вдоль извилистой, заасфальтированной дороги с обеих сторон нескончаемой чередой стояли низкие каменные белые столбики. Битком набитые людьми, скособоченные автобусы с трудом преодолевали подъем. Тома открыл в машине все окна, и в кабину ворвался ветер. Волосы Баи растрепались и длинными трепещущими нитями рассыпались по лицу.

С высоты открылся противоположный берег моря, за ним — поле, а дальше длинный оголенный склон горы. На западе темный горизонт тяжело давил на горы вдали...

Машина преодолела последний подъем, проехала мимо ресторана и остановилась на стоянке перед водной станцией.

В море виднелись лодки, казалось, их кто-то сбросал по водной глади. Станция располагалась на

склоне, спускающемся к морю, и вдоль берега тоже стояли лодки, но уже привязанные веревкой к вбитым в землю колышкам. Поодаль покачивались на воде деревянные причалы. Со стороны моря на них висели старые автомобильные покрышки, а вплотную к ним стояли глиссеры.

У маленькой будки лодочников дверь была оторвана. Тома вошел в будку один. Внутри было прохладно и темно. Жандэ и какой-то парень сидели на ящиках перед поставленными друг на друга коробками. На верхней коробке — бутылка с водкой, стаканы, жареная рыба и черствый хлеб. В углу, на детской деревянной кровати спал полуголый юноша.

— Что тебя принесло в такую рань? — удивился Жандэ.

Второй принес еще один ящик. Тома сел.

— Если выпьешь, как ты будешь работать? — Тома кивнул на бутылку.

— Да я самую малость... — ответил Жандэ.

Второго лодочника звали Гигла. Он был высок, мускулист, длиннорук.

— Я не один, Жандэ, со мной Бая и еще один друг, — сказал Тома.

Жандэ встал и вышел.

Гигла достал из скособоченного шкафа брезент и укрыл спящего. Потом расставил вокруг стола ящики...

Тома сел рядом с коротышкой. Жандэ разлил водку. Миша уставился на полный стакан.

— Выпьем, батоно Миша! — сказал Тома и чокнулся с соседом.

Миша выпил. Тома сморщился — водка оказалась крепкой, тепло разлилось по всему телу. Все выпили. Миша поставил стакан, снял кепку и сложил руки на коленях. Бая положила рыбу на единственную тарелку.

— Съешь что-нибудь, батоно Миша! — предложил Жандэ.

Коротышка покорно взял кусочек хлеба.

— Не надо разливать, мы больше не будем пить, — сказал Тома.

Миша облегченно вздохнул.

— Мы с Гиглой поселились здесь... Уже несколько недель не ездим в город... — сказал Жандэ.

— Такая ужасная жара в городе, только под ут-ро и можно уснуть... Не так ли, Миша? — Тома по-смотрел на Мишу.

— Да, жарко, — подтвердил коротышка.

— До двух часов ночи люди слоняются по ули-цам, — Тома вновь взглянул на Мишу.

— В полдень и здесь не очень-то приятно, — ска-зал Жандэ.

— В это время у нас мертвый час, мы все спим в тени, — добавил Гигла.

Бая ела рыбу.

— Тяжелая у вас работа! — посочувствовал Тома ребятам. — А Мише приходится целый день сидеть в закрытом подвале.

— Порой приходится туго, — тихо сказал Миша.

— Неделю назад в полдень я на катере возил ка-ких-то гостей... Чуть солнечный удар не хватил! — Жандэ повернулся к Тома.

— Вчера привезли керосин, когда наполняли ре-зервуар, была такая духота, что мы работали, раздев-шись догола, и все же пот градом катился, — ни к ко-му не обращаясь, сказал Миша.

— Где вы работаете? — спросил Гигла.

— На керосиновом складе.

Беседа протекала неторопливо, лилась, словно пе-сня. Коротышка упивался свободой и спокойствием. Одна странная привычка превратилась для Миши в потребность — он каждый день проигрывал одну и ту же подаренную ему соседом пластинку. По вечерам он гасил свет, включал проигрыватель, ложился на кровать и слушал. Начало ему не нравилось. Не то что-бы не нравилось, ему было не по себе от скрежещущих звуков инструментов и надтреснутых голосов певцов... Миша любил слушать середину — медленное, спокой-ное и грустное пение двух женщин. Коротышка само-забвенно погружался в прекрасную мелодию... Слу-шать пластинку — стало привычкой и одновременно маленькой тайной Миши... И в эту минуту, здесь, в будке, он вспомнил свою пластинку. Им завладели чувства, которые он испытывал, когда слушал пение двух женщин. Все вокруг было пронизано покоем и грустью.

Тома увидел, как перед рестораном останавлива-

ется автобус, из него высыпали пассажиры. Они шли мимо будки к воде.

Гигла намеревался разлить водку, но Тома накрыл стакан ладонью.

— Хочешь прокатиться на лыжах? — спросил Жандэ Тома.

— Мы и искупаться хотим, — ответил Тома и встал.

Бая осталась в будке, чтобы надеть купальник. Остальные пошли к берегу и стали ждать Баю.

Покачивая по-мальчишески узкими бедрами, осторожно ступая голыми ступнями, она спускалась по склону. Белый купальник плотно облегал маленькую грудь. И плечи у нее были хрупкие и худые, как у юноши.

Миша не спускал с нее удивленных глаз. Женщина его волновала всегда. Он с трепетом смотрел на всех — полных, худых, низких, высоких, блондинок или брюнеток. Бывало, встретив на улице женщину, несколько дней ходил как помешанный. Бая казалась ему другой, какой-то теплой, спокойной...

Словно потеряв равновесие, закачалась деревянная платформа. Бая прыгнула в глиссер. Гигла принес широкие водные лыжи. Все разделись, побросав одежду в катер. На коротышке были широкие, длинные трусы. Гигла вернулся в будку. Жандэ открыл крышку в хвосте глиссера и что-то стал чинить.

— Плавать умеешь? — спросил Тома стоявшего рядом Мишу. Он сидел на краю платформы и прилаживал длинные лыжи.

— Умею!

Жандэ закрыл крышку, сел за руль и включил мотор. За катером забурлила вода. В конце глиссера стояла Бая с мотком веревки в руках. Один конец веревки был привязан к катеру. Тома надел лыжи, оперся руками о платформу, медленно опустился и по горло погрузился в воду. Девушка бросила ему веревку. Для удобства конец веревки был раздвоен и оба конца ее соединялись короткой деревянной палкой. Катер отошел на такое расстояние, чтобы веревка натянулась. Миша стоял на платформе и виновато улыбался. Тома велел ему по крышке спуститься в воду. Миша повис на крышке... она сорвалась — и

он упал в воду. Миша рассмеялся, засунул покрывку под платформу и ухватился рукой за вбитый в доску крюк. Тома подошел к Мише и посадил его на шею. Виноватая улыбка не сходила с лица Миши. Катер тронулся. Тома, почувствовав, как дернулась веревка, тотчас отпустил крюк и с головой ушел под воду. Потом постепенно выплыл и заскользил по поверхности. Миша съежился и крепко вцепился руками в волосы Тома... Жандэ прибавил скорость. Глиссер шел в море, оставляя на воде глубокий, словно вспаханный след. Капли воды хрусталиками сверкали в лучах солнца. Тома старался скользить рядом с пенящимся следом, у него дрожали колени... Временами его окутывала водная пыль и тогда он испытывал приятный озноб...

Миша устроился поудобнее на плечах Тома и отпустил руки. Глаза у него искрились от обуявшей его радости. Ветер, упруго давивший ему на грудь, словно просеивался сквозь тело и уносил с собой все, кроме этой безмерной радости... Миша раскинул руки и громко засмеялся... В катере стояла Бая и с улыбкой махала рукой... Натянутая веревка дрожала, как нерв... Внезапно лыжи врезались в след от катера и подпрыгнули на пенящейся волне. Нога Тома беспомощно описала в воздухе круг, он потерял равновесие и плюхнулся в воду... Когда он выплыл, увидел радостно улыбающегося Мишу. Недалеко на волнах покачивались лыжи. Бая, смеясь, тащила из воды веревку... Миша быстро поплыл к Тома. Подождав, пока Миша подплывет ближе, Тома толкнул его под воду. Миша под водой потянул Тома за ногу. Тома глотнул воды, быстро заработал руками и выплыл. Миша его поджидал. Он снова толкнул его под воду ногой. Тома почувствовал, как ему обожгло уши, он сильно загреб воду и, задыхаясь, вынырнул на поверхность. Миша поплыл к нему. Усиленно отбиваясь ногами, Тома с трудом защищался от атаки коротышки.

— Ух, устал, — признался наконец Тома, и коротышка тотчас отстал от него.

...Тома попросил Жандэ перевезти их на противоположный берег. Миша уселся на борт катера и перекинул ноги в воду. Ближе к берегу он соскочил с катера и, шлепая ногами, пошел по воде. Вода была

ржавой и мутной. Жандэ сказал, что скоро вернется, и монотонный рокот катера покотился по волнам в сторону моря.

Они остались втроем на берегу... Посередине широкой лужайки, простирающейся до оголенного серого горного хребта, стоял деревянный неогороженный дом. Он выглядел необитаемым. От дома в направлении горного хребта, лениво покачивая хвостом, плелась корова-пеструха.

Тома и Бая легли на высохшую, местами поредевшую сухую траву.

Было тихо, только море у берега бормотало по-стариковски.

Все молчали.

«Этот прекрасный дом нуждается в уходе, — погрузился в мечты коротышка, — я бы выкрасил стены в желтый цвет, а крышу — в красный. Сделал бы цветную деревянную ограду, к колышкам привязал бы золотыми нитками белых голубей. Каждое утро, до восхода солнца я бы ходил с неводом, перекинутым через плечо, к морю. На берегу меня бы ждал маленький катер... В море я бы закинул легкую сеть... Катер до самых бортов наполнился бы сверкающей рыбой. С богатым уловом я бы вернулся на берег, из дома с веселым смехом выбежали бы навстречу вихрастые детишки, взлетели бы голуби в лазурное небо. А на пороге меня встречала бы рослая приветливая жена. Она завела бы меня в комнату, усадила подле камина и, замесив тесто, испекла бы мчади. Если в доме нет камина, я бы его обязательно сделал!»

— Интересно, живет кто-нибудь в этом доме? — спросил он вслух.

— Я присматривался, но никого не заметил... — сказал Тома.

— Тома, ты должен быть рыбаком, у тебя будет прочный невод и ты каждое утро на собственном катере будешь ходить на ловлю рыбы, — сказала Бая и села. — Этот дом был бы твоим, только надо посадить вокруг него большие тенистые деревья, ты бы вырыл во дворе глубокий колодец и напоил бы уставшего путника вкусной холодной водой...

«Почему Тома, а не я», — обиделся в душе Ми-

ша и посмотрел на луч солнца, желтой полосой лежащий на далеком склоне.

— И я подумал об этом, — улыбнулся Тома Бая, потом взглянул на Мишу, — пойдём искупаемся, что ли?

Миша не отрывал глаз от солнечной желтой полосы. Он притворился, что не расслышал слов Тома.

— Я и наши дети встречали бы тебя во дворе, помогли бы снять грубую, мокрую одежду... Потом я накрыла бы стол, угостила бы тебя горячими хачапури и охлажденным в колодце вином, — продолжала Бая.

«Почему Тома, а не меня?» — Миша сердито дернул ногой, сбросил прыгнувшего ему на ногу кузнечика и, взглянув на Баю, мысленно оцупал ее грудь и бедра.

Тома заметил взгляд Миши, недовольно отвел глаза и пробормотал про себя:

— Хочу искупаться...

— Я немножко позагораю еще, — сказала Бая и снова легла на траву.

Миша, поджав губы, проводил взглядом Тома и повернулся к дому... Он стал вспоминать сегодняшний день с самого начала, заново прожил каждую минуту, скрупулезно восстанавливая в памяти все подробности. И... расстроился. Вспомнилось детство: узкий, покрытый мхом мост, а под мостом вязкая, словно болото, река. С моста прыгали дети, кто вперед головой, кто ногами — среди них был и Миша... Потом вспомнил лежащего в красной луже огромного грозного буйвола... И, наконец, в сознании всплыло поле, усеянное стоящими к нему спиной людьми в шинелях, они шли к горизонту и бесшумно исчезали, словно множество солнц на закате...

Миша съежился, оцетинился.

«Почему он, а не я? — подумал он со злобой. — Разве со мной ты не могла бы иметь детей? Разве только потому, что си выше и здоровее меня?..»

Подул ветерок. По небу медленно двигались свинцовые клубящиеся облака. Горы на горизонте выглядели так, словно небо сорвало с них вершины. Над склонами неподвижно висела угрюмая завеса дождя. Было жарко, но со стороны почерневшего горизонта стали просачиваться сумерки и прохлада. Желтая по-

лоса солнца переместилась со склона горы к полю на противоположном берегу.

«Выросший на булках с маслом мальчишка пожелал прогуляться со мной, — усмехнулся Миша. — Почему? Спрашивается, почему? Вот если сейчас взять камень, швырнуть и попасть в него, вся поверхность воды покроется сливочным маслом... Даже плыть не захочется в такой жиже... Я бы так обнял эту девочку — аж кости бы захрустели...»

Коротышка представил себе Баю, лежащую обнаженной на его провисшей кровати.

Миша встал, огляделся вокруг с недоброй улыбкой. Тень его накрыла девушку. Она взглянула на коротышку и только сейчас заметила шрамы на теле.

— Какую вы перенесли операцию, Миша? — спросила она.

— Нет... это в драке... Вот еще и здесь... Это в другой драке заработал... Миша поднял длинные трусы и обнажил глубокий шрам на бедре.

— Вы вовсе не похожи на драчуна! — улыбнулась Бая.

— А мужчина и не должен выглядеть так, — спокойно ответил коротышка и посмотрел на плавающего Тома. — В его возрасте я уже два раза побывал в тюрьме.

Девушка удивленно подняла брови.

— Знаете за что?.. Из-за девушек. Один раз я так ударил одного человека, что тот две недели пролежал в больнице со сломанной челюстью.

— А в другой раз? — улыбнулась Бая.

— В другой... Я был вынужден жениться одновременно на нескольких девушках... Всех вместе я ведь не мог везти к себе?.. И я предпочел сесть в тюрьму.

Бая слушала с интересом.

По склону горы узкой полоской пролег луч солнца.

— Бая, взгляни, Бая, — шепотом и с какой-то неизъяснимой радостью сказал Миша. — Ты видишь желтую полосу на горе? На что она похожа?.. Желтая полоса похожа на огромный кусок масла!.. Масло, намазанное на гигантский кусок булки! — Миша выплеснул эти слова и вроде бы успокоился.

Бая улыбнулась.

— Ну что, ведь похоже, а? — с надеждой пере-спросил Миша, и его охватил безудержный смех.

Рассмеялась и Бая... Коротышка бил себя по ко-леням, прыгал, чуть ли не давился от смеха. Все его тело содрогалось... На лице Баи погасла улыбка.

— Идите в воду! — крикнул Тома.

Быстрым шагом Бая пошла на зов.

Миша присел, посмотрел на Тома и твердым голо-сом сказал себе: — Нет!.. Я иду осматривать дом!..

Он обошел вокруг безлюдного дома. Дверь была накрест заколочена досками. Миша заглянул в окно. В закопченной кухне стояла в углу старая колченогая тахта...

«Дому нужна высокая каменная ограда и тяже-лые чугунные ворота на колесах!.. А двору — голод-ная, как волк, злая собака!.. Разведу огонь в очаге: будут у меня и жена и много детей! — словно назло кому-то в сердцах думал Миша. — Женщина ценит силу. Это мы знаем! Сейчас я спокойно, медленно пой-ду к берегу и постою там. Подожду... Тома выйдет из воды, бросится ко мне с улыбкой. Как ты поплавал, Тома? — спрошу я, тоже улыбаясь, и, прежде чем он ответит, добавлю: что тебе напоминает желтая поло-са на склоне горы? На какой горе, — спросит возбу-жденный Баи и оглянется... В этот момент я быстро замахнусь припрятанной за спиной толстой палкой и двину ему чуть ниже уха, чтобы точно в челюсть по-пасть... Свалится как подкошенный, а губы окрасят-ся кровью... Что скажет Бая? Выскочившая из воды, мокрая Бая? Ничего не скажет бедная девочка, только вытаращит глаза и замрет. Потом бросится бежать, я побегу вдогонку. Долго придется побегать бедной де-вочке, но я перекрою ей все дороги. Все, кроме одной, той, которая ведет к кухне, пристроенной к дому. По-том стану спокойно на пороге и уставлюсь на нее с улыбкой... Девочка, дрожа, прилипнет к закопченной стене, но я швырну ее на старую тахту и... Заскри-пит хромая тахта, застонет растрепанная Бая...»

Со стороны моря слышался шум глиссера. Бая и Тома сидели на берегу.

Солнце скрылось за белым облаком. Оно выгляде-ло передовой кавалерией бронированного черного вой-ска. На востоке в небе замороженно висело кривое об-

лако. Узкий лоскуток искрящегося неба быстро сужался. Подул ветер... Море заволновалось. Маленькие лохматые волны догоняли друг друга и бессильно разбивались о берег.

«Потом зашумит все вокруг, нестройно загалдят голоса... Огромные мужчины с серыми собаками станут преследовать меня, словно смерть. Я буду бежать по полю, через горы, колючки будут царапать и драть мне тело, и я, обессиленный, упаду на пыльном пустыре. А преследователи подступят со всех сторон, прыгнут на меня, словно саранча... Круг будет постепенно сжиматься... Свирепая собака высунет длинный кровавого цвета язык и оближет мои губы. Один из преследователей наступит мне на грудь ногой и спокойно, очень спокойно спросит: «Зачем ты это сделал, мерзавец?» Я попробую тихо спросить: «На что похожа желтая полоса на склоне горы?..» Но не дадут сказать, затопчут, грязными сапожищами избородят мне лицо... И этим все закончится, все...»

Воспаленным взглядом Миша оглядел берег.

Жандэ выключил мотор раньше, катер бесшумно скользнул к берегу. Он спрыгнул с глиссера и сел рядом с Баяй и Тома.

Миша крепко прижал подбородок к груди. «Я прощаю тебя, сытый, наглый Тома!.. И тебя прощаю, страстноглазая Бая!.. Все прощаю!»


Небо сомкнулось. Повисла духота. Исчезли тени, все вокруг стало пепельным. Лениво, нехотя закапал дождь. Застучали тяжелые капли, и раскаленная земля тотчас впитала их в себя.

Тома окликнул Мишу. Коротышка медленно поплелся к берегу.

Стало еще темнее, небо опустилось... Внезапно полил ливень.

Миша побежал к катеру.

Когда все собрались, Жандэ оттолкнул катер от берега, развернул его и с места рванул на большой скорости. Дождь усиливался. Тяжелые капли прыгали по голым плечам и иглами впивались в тело. Миша стоял в хвосте глиссера, смотрел на след, оставляемый катером в воде, и нервно думал: «У меня раскаляется голова, рябит в глазах, и мурашки бегают по всему телу... Что они делают со мной, нечестивцы?!» Глис-



сер, подпрыгивая, продвигался вперед, рассекая носом набирающие силу волны. Глиссер обошел мыс и вошел в залив. Здесь море было спокойнее. Катер быстро привязали к пристани, схватили одежду и побежали к сараю.

В углу по-прежнему спал парень, и Гигла вновь укрыл его брезентом. В земляном полу посередине была вырыта небольшая яма. Гигла сложил в нее дрова и разжег огонь. Для переодевания поочередно выходили в пристроенную к сараю будку, которая использовалась для продажи билетов.

Из сарая была видна дорога и принадлежащая ресторану веранда с навесом, под которым в ожидании автобуса укрылись люди.

Огонь разгорелся. Стало теплее. Гигла обложил яму кирпичами, проложил между ними металлические прутья и поставил на них сковороду. Жандэ потрошил рыбу. Бая промывала стаканы и расставляла их на приспособленных под стол ящиках.

У входа в сарай, на узкой асфальтированной дорожке возникли лужи. Из них узкими ручейками вода по склону стекала к морю...

По железной крыше непрерывно стучал дождь. В темном углу продолжал спать парень — он даже не пошевелился. На столе появилась вторая бутылка водки. Бая немного выпила, и у нее покраснели щеки. Миша пил молча. Временами оглядывал присутствующих неподвижным мутным взором, подолгу задерживался на каждом, а затем взгляд его возвращался к бутылке. Его мрачное настроение угнетало всех. Говорили мало.

«Добрые друзья... Любимые друзья! — желчно размышлял коротышка. — Жандэ друг Тома, поэтому он хорошо относится к Бае. А Гигла товарищ Жандэ и скоро, наверное, подружится с Тома... Сейчас обнимут друг друга за плечи... Добрые друзья! Отпустите Мишу на минутку. Всего на одну минутку... Он хочет оросить фундамент дома... Что тут удивительного? Ну так я пошел... Я скоро!.. Как сильно льет! Как только выйду, одежда прилипнет к телу... К черту одежду!.. Снимаю все, нет, не снимаю, а срываю с себя, и остаюсь голым... Дышу глубоко и шумно, как готовящийся к отправлению тепловоз... Тронулся с места,

постепенно набираю скорость и с криком бегу. Знаю куда! Вот и появилась! Появилась красная лужа, в которой лежит свирепый огромный буйвол... Длягу рядом с ним, со злости вымажусь красной грязью и тихо попрошу: «Буйвол, ты сильный, дай мне твою силу!..» Бегу обратно, а за мной тянется красный, как кровь, след. Бегу, опустив голову, земля дрожит под ногами, встают на дыбы огромные волны и с силой ударяют о берег... Вот сквозь завесу дождя проступают очертания жалобно прижавшегося к земле малюсенького сарая. Стальным лбом сшибаю его с места, и он, словно сорвавшийся с горы пень, подпрыгивая, катится к морю... У берега его ждет огромная волна, она накроет его и... Исчезнет железная крыша, только большие, словно мячи, пузыри закипят на поверхности воды, а вскоре исчезнут и они...»

На крытой веранде ресторана никого уже не осталось. Яма наполнилась золой.

— Как мы выберемся отсюда, Жандэ? — спросил Тома.

— У приятеля есть старая машина, думаю одолжить ее, — сказал Жандэ.

— А вы не боитесь наехать на какой-нибудь сарай, свалить его и сбросить в море? — сурово чекая слова, вставил Миша и строго оглядел каждого в отдельности.

Тома покраснел, остальные удивленно переглянулись.

— Сейчас трудно будет найти машину... — сказал Тома.

— Разве трудно снести эту убогую хибару? — усмехнулся коротышка.

Жандэ вызывающе посмотрел на Мишу. Миша в ответ настойчиво впился в него взглядом.

— А если не одолжит, что нам делать? — проговорил Тома.

— Мне он не откажет, — ответил Жандэ и принялся доедать рыбу.

Узкая дорога перед сараем оказалась затопленной.

«Все льет да льет! Вода смыла то место, где стоял сарай. Поток грязи понесся по склону к морю. Привязанные к кольшкам лодки наполнились водой и за-

тонули. У берега на колючем кусте затрепетало что-то цветное... Молодец, сарайчик, ты мне оставил девушку!.. Я спускаюсь, скользя, по грязному склону... Встань, Бая! Ни звука не издает потерявшая сознание девушка. Я беру на руки теплое тело и снова бегу, тяжело, долго, пока наконец не выскакиваю на безлюдное голое поле... Все льет да льет!.. А ну пройдишь, красавица! — говорю я ожившей девушке. Пусть сквозь тонкое мокрое платье проступят маленькие, как сдобные булочки, груди, пройдишь медленно, легко покачивая бедрами...»

Пили без удовольствия, словно каждый бокал осушался в память усопшего. Коротышка молчал, сверлил бутылку упрямым взглядом. Его глаза и злобная усмешка вселяли в присутствующих тревогу.

— Пошли! — тихо сказала Бая.

— Мы бы уехали, Жандэ, если раздобудешь машину, — повернулся Тома к Жандэ.

— Гигла, пойдй за машиной, — сказал Жандэ.

Гигла вышел.

«Без конца льет!.. Тысячи раскаленных стрел проносятся в грохочущем небе... В степи стоит сарай, и мы идем к нему. Впереди — Бая, за ней иду я и бесцеремонно рассматриваю каждую частичку ее тела, которое так четко просматривается сквозь мокрое, обтягивающее тело платье... Перед сараем я толкаю ее. Пусть падает предо мною на колени, вымаливает прощения за грехи! Потом я усаживаюсь поудобнее в глубине сарая, маню ее пальцем и сажаю к себе на колени...»

Миша строптиво огляделся, со странной улыбкой посмотрел на Баю и спокойно, очень спокойно произнес:

— Я хочу посадить тебя на колени, Бая, хочу согреть твою маленькую грудь.

Жандэ, словно плетью, взмахнул рукой. Коротышка получил сильный удар в шею. Он дернулся вперед и сбросил бутылку с ящика. Воцарилась такая тишина, словно внезапно умолк плачущий капризный младенец. Миша обмяк, как флаг под дождем, и в глазах тотчас появился привычный страх.

— Не бейте меня... я боюсь! — сказал он тихо.

Бая закусила губу и уставилась на Мишу широко раскрытыми, полными слез глазами.

Воздух в сарае пропитался запахом водки. Тома воочию представил себе вошедшего в столовую маленького, испуганного человека... Он растер рукой затылок, словно он у него разболелся, и недоуменно посмотрел на Жандэ.

— Ты должен извиниться! — умоляюще шепнула Бая Жандэ.

— Извини, Миша, я выпил лишнего, — тихо сказал Жандэ.

Коротышка покорно кивнул.

Гигла пригнал машину... Все молча сели в нее. Прежде чем машина отъехала, Жандэ еще раз извинился, и Миша снова покорно кивнул. Пока машина не скрылась из виду, Жандэ стоял под дождем, потом вернулся в сарай.

Машина мягко катилась по спуску. Тревожно металась по ее стеклу «дворники», рисуя два больших раскрытых веера. Тома безуспешно старался завести разговор. Бая ерзала на широком сиденье, пытаясь устроиться поудобнее, потом отодвинулась от Тома и прижалась к дверце машины.

— Кто это там спал? — спросила неожиданно Бая. Голос у нее дрожал.

— Работает с нами... — ответил Гигла.

— Он был здорово пьян.

— Да... Накачался...

Коротышка сидел рядом с Гиглой и смотрел на поблескивающую дорогу. Ему виделся идущий по пустыне длинный караван верблюдов... Это видение сменилось другим — заточенные в клетку волки яростно щерились... и назойливо шумел дождь... Всплыл перед его взором большой красивый сад с яркими цветами, а затем — широко раскинувшаяся желтая долина. Долина была запружена коваными сапогами в человеческий рост, и они бесконечными рядами тяжело двигались в его сторону...

Перевод Динары КОНДАХСАЗОВОЙ



ДЕСЯТЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

ЭПИГРАММЫ
СЕРГЕЯ РАДОНОВА

Джанико в накинутой на плечи бурке пьяной походкой брел по пыльному большаку. По его одуловатому, оплывшему жиром лицу стекали грязные струйки пота, во взъерошенных волосах торчали соломинки, борода изрядно отросла. Из-под длинной и широкой бурки слышалось глухое металлическое позвякиванье. Идущих навстречу односельчан он провожал злобной ухмылкой и гневно что-то бормотал под нос.

Был жаркий полдень уходящего лета. Над приютившейся на склоне деревней круто возвышалась поросшая дремучим лесом гора. В спокойную и мутную реку упирались стекающие, словно ручейки, узкие проулки. На противоположном берегу вся долина до самых отдаленных склонов покрыта пашнями, садами и виноградниками. Через широкую реку перекинут неуклюжий замшелый мост. Подворья, леса и пастбища отливают тусклой зеленью. Безоблачное, натертое до блеска небо раскаленным сводом нависло над изнывающей от жары землей.

Джанико с самого утра ходил, насупившись, по проулкам, хмуро озирался по сторонам и тихо ругался. Он шел в сторону леса, но, будто следуя за невидимым проводником, возвращался и уже в который раз упирался в ворота собственного двора. При виде полуразрушенного, сколоченного из дешевой древесины дома он, задыхаясь от злости, сыпал проклятиями, словно строптивая баба, перемежая ругань угрозами, и снова брел по проулкам.

Благодаря тучным полям и сытным пастбищам деревня именовалась Луговая. Оторванная от мира, она жила спокойно и однообразно. Трудолюбивые крестьяне, не щадя себя, ухаживали за нивами и садами, за что земля щедро одаривала их. Любая семья могла встретить нежданного гостя хлебом и вином, но гостей здесь не особо жаловали, отличались прижимистостью. Денег на ветер не бросали. А выпить любили. Вином да сытой едой скрашивали свою скучную размеренную жизнь. Временами для того, чтобы несколько оживить свое бесцветное существование, лу-

говчане собирались на рыночной площади под самой горой, чтобы послушать интересные высказывания батони Савле, некоронованного правителя деревни и главы довольно зажиточного в сравнении с прочими семейства.

В юности он побродил по миру, кое-что повидал и, остепенившись, вернулся на родину. Савле говорил разумно, знал иностранные слова, и не мудрено, что пользовался авторитетом у односельчан, которые и жили по законам, предписанными Савле. Мало того, они даже считали себя обязанными ежегодно обрабатывать какую-то часть его земли.

Джанико, мокрый, как взмыленная лошадь, плелся по большаку. От горькой обиды у него кружилась голова: разве не заслужил он, простой, незлобивый, кроткий как ягненок, доброго приветствия и человеческого участия? Ведь он ни разу в жизни не помыслил чего-либо дурного, грубого слова не сказал никому... Вот и сейчас... Месяц не брился, не стригся, но никто из односельчан даже не полюбопытствовал, почему. Человек сорок повстречались с утра, и только некоторые из них с трудом выдавили из себя приветствие... В такую жару человек надел теплую, как одеяло, бурку, старательно позвякивает оружием... Остановись, добрый человек!.. Спроси у Джанико, что случилось, не потерял ли он близкого, ведь бороду отпустил?.. А может, болен и потому накиннул на себя теплую бурку?.. Или почему забросил свой виноградник и сад? Значит, случилась беда?! Не хочешь спросить? Ладно, пусть будет так!.. Джанико себя в обиду не даст, не какой-нибудь там муравей... В этом скоро убедитесь!..

— Тебе что, заплатить за приветствие, несчастный? — прошипел Джанико и проводил встречного колким взглядом.

Немилосердно пекло жаркое солнце. Джанико прошел мимо заколоченной бездействующей церкви и свернул к рыночной площади.

Джанико в Луговой считали середняком. Братьев и сестер у него не было, да и отец его был единственным сыном в семье, вот и не осталось близких родственников. После смерти родителей в меру ленивый и неповоротливый Джанико с трудом привык к тяже-

лону крестьянскому труду... В конце концов кое-как справился с хозяйством и вскоре женился по сватовству на худой, некрасивой и сварливой женщине. Женувшись, почувствовал большую ответственность и зачастую на свой участок. С утра до вечера ковырял мотыгой землю, ухаживал за виноградником и по доброте душевной охотно ставил соседям в садах чучела для отпугивания назойливых птиц. Возмужал Джанико, раздался в плечах. Все шло своим чередом, но отсутствие детей сильно раздражало супругов, и по этой причине в семье часто происходили стычки.

Свободное время Джанико в основном проводил дома, любил спокойно посидеть, тянул вино небольшими глотками. Временами ходил на рыночную площадь послушать умного Савле. Савле и его гордячка дочь Цируния вызывали у Джанико странное чувство тоски и горечи. Когда он видел их, у него почему-то обрывалось сердце, именно тогда он вспоминал свой готовый развалиться дом, бесцветное лицо злой жены и нелепые чучела, которыми украшал соседские виноградники. Встреча с ними вызывала у него желание напиться... Поэтому Джанико недолюбливал Савле, хотя и пролил немало пота, вместе с другими крестьянами распахивая земли деревенского старосты... Так и жил Джанико, не утруждая себя пустыми размышлениями, довольный своей участью.

И вдруг безобидного и тихого Джанико словно подменили. Все началось вот с чего: как-то вечером на рыночной площади по обыкновению собрались сельчане побеседовать, обменяться новостями. Савле среди них не было, и у молодежи моментально иссяк запас рассудительности и сдержанности. Вскоре разговор принял легкий, даже веселый характер. Окрылились колкие на язык юнцы. Те до в шутку обозвал кривоносого Шота ослом. В другое время подобная шутка могла пройти без последствий, но надо же было, чтоб Шота готовился к свадьбе — он уже был обручен. К тому же рядом с Шота стоял его будущий шурин, и после некоторого колебания он решил рассердиться. Крестьяне с трудом разняли разгорячившихся парней. Было заключено временное перемирие. Брат невесты пересчитал присутствовавших при стычке на площади крестьян и посоветовал соперникам обратиться к Сав-

ле для определения виновника. Темо и Шота согласились с ним. Свидетелей оказалось десять человек.

Спустя несколько дней Савле нашел время и пожелал явиться на площадь для разбора дела. Призвали свидетелей.

Явились девять человек, десятый не объявился. Савле приказал немедленно доставить десятого свидетеля. Но никто из крестьян не двинулся с места, они виновато стояли перед Савле, смотрели в небо и безуспешно копались в памяти: никто не мог вспомнить, кто был десятый. Савле разгневался и отложил слушание дела.

Через неделю соперники и свидетели вновь стояли на площади перед Савле, виновато потупив головы — они так и не вспомнили десятого свидетеля.

— Кто же из вас глупее, вы или тот десятый? — удивился Савле. — Может, вас было девять?

— Я насчитал десять человек, — сказал брат невесты, — три раза считал.

— И я насчитал столько же, — подтвердил Тедо.

Савле хотел было рассердиться, но внезапно расхохотался и поручил своему соседу Шакро срочно собрать на площади всех мужчин деревни.

Через час на рыночной площади собрались все мужчины Луговой. Низенький Савле сел на привезенный из Европы высокий стул и весело обратился к сельчанам:

— Где я только ни побывал, чего я только ни повидал, но с такой нелепой историей встречаюсь впервые!.. Средь бела дня у нас исчез человек, да так, будто его никогда и не существовало... По молодости лет между уважаемым Шота и не менее уважаемым Тедо произошла стычка, и при этом присутствовало десять свидетелей... Разбирал я это дело семь дней назад, и тогда, и сегодня — оба раза — явились только девять свидетелей. Десятого не нашли — никто не может вспомнить, кто был десятым... А этот десятый стоит сейчас среди вас на площади и, наверное, убежден, что он мужчина и числит себя среди живых... Савле прыснул со смеху, долго фыркал и потом, хохоча, продолжил: — Если тебя не вспомнили девять односельчан, не припомнили тебя, стоявшего рядом с ними, зачем тебе, парень, такая жизнь?.. Кто же породил те-

бя, такого ничтожного, к чему такому муравью семья, или соседи, или еда и застолье? Лучше подняться на высокую скалу, прыгнуть вниз головой, удобрить своим прахом землю. Хотя... и этого нам не увидеть, — хихикнул Савле. — Что ж, кто бы ты ни был, дай Бог тебе здоровья, давно я так не смеялся от души...

Крестьяне загоготали. Даже те, кто не понял, что в этой истории смешного. Неустановленный десятый свидетель — Джанико — стоял среди сельчан, но после слов Савле съезжился, словно побитая собака, и незаметно улизнул с площади.

Развеселившийся Савле помирил-таки Тедо и Шота и, опираясь на руку Шакро, направился к дому, не переставая посмеиваться.

Этот случай внес смятение в добрую душу Джанико. Вернувшись с площади, он, ничего не сказав жене, накрыл бедняцкий стол, налил себе водки и напился... С утра, как обычно, решил заняться делом: подмел двор, накормил кур, выгнал корову на выпас. Затем собрался было в виноградник, но от безмерной тяжести на сердце у него опустились руки. Кусок не лез в горло. Джанико вынес во двор циновку, постелил под шелковицей и без сил опустился на нее. До захода солнца, погруженный в тяжелые мысли, пролежал голодным, а позже вновь напился до потери сознания... Последующие дни были похожи на предыдущий: днем он отлеживался, а к вечеру садился за стол и пил до тех пор, пока не валился с ног.

Не мудрено, что у такого хозяина зачахли и виноградник, и сад.

Жена Джанико некоторое время с удивлением наблюдала за странным поведением мужа, потом решила согнать его с циновки, но не добилась успеха. Джанико, словно сраженный тяжелым недугом, лежал в саду, совершенно не реагируя на ругань и угрозы жены. Вконец истерзавшись, она расцарапала мужу щеки, разбила об его голову тарелки, но все же не смогла вывести из оцепенения погруженного в душевные муки мужа. И тогда, потеряв всякую надежду, она прокляла судьбу, собрала свое придансе и вернулась под отчий кров.

А Джанико целыми днями лежал неподвижно и мысленно обходил дома соседей. Он многократно

представлял себе характер своих взаимоотношений с соседями и после тщательного анализа пришел к заключению, что в столь большой деревне не найти человека, способного разделить с ним его печали и радости. И все потому, что его считают никчемным человеком. Осознание этого разожгло в его душе пламень тлеющей горечи.

Почти месяц Джанико ждал возвращения жены, но та не появлялась. Обуреваемый более сильными чувствами, он не очень страдал от ухода своей некрасивой, сварливой жены, махнул на все рукой и стал замышлять что-то недоброе.

Обычно раз в году пробуждалась Луговая от долгой безмятежной спячки: каждую весну в деревню приезжал длинный караван тяжелых фургонов с царскими прислужниками, вооруженными стражниками, купцами и артистами. Разбивали лагерь на площади у подножия горы. Пока вооруженные стражники собирали подать с людей, на площади начиналась оживленная торговля, а с наступлением ночи, при свете луны артисты устраивали красочные представления... Длилось это с неделю. Потом крестьяне провожали гостей до околицы, долго стояли там, пока последний фургон не исчезал за пологими склонами наползающих друг на друга гор... Это единственное событие связывало деревню с внешним миром, оно было быстротечным, но самым светлым явлением в жизни луговчан.

И в этом году не обошел караван деревню. До слуха Джанико донеслись ярмарочный гомон и звуки шарманки, но охваченный темными мыслями, он не пошел на площадь. Сборщики подати усердно обошли всю деревню, взяли оброк с каждой семьи, но почему-то упустили из виду Джанико. Небрежность «гостей» он воспринял как подтверждение своего несуществования.

...Солнце нещадно жгло шею, ему казалось, что на нем висят тяжелые раскаленные шары. Джанико снова повернул к своему дому и, раздраженный этим странным блужданием, чураясь всех и вся, вновь поплелся наверх, в сторону площади. В проулке никого не было, слонялись только важно надутые высокомерные индюки. Один из дворов привлек его внимание, удивленный, он остановился. Из небольшого де-

ревянного дома, стоящего на каменных сваях, слышалось женское пение. Джанико вдруг изменился в лице: он узнал голос жены. Джанико угрожающе зарычал, отошел от плетеной ограды дома своего тестя и поплелся дальше по подъему.

На довольно просторной базарной площади, в тени между лавкой и покосившейся парикмахерской стояли люди. Мясник Миха, перегнувшись через прилавок, неотрывно смотрел на собравшихся. Джанико в задумчивости остановился, вытер рукавом пот со лба, потом, тяжело ступая, направился к лавке. В парикмахерской, свесив голову, дремал парикмахер Габбо. Джанико подошел к собравшимся и, пристроившись за их спинами, уставился на восседавшего на высоком заграничном стуле вещающего что-то важное Савле.

— Нужда, несчастье является ее ярким проявлением, — говорил Савле. — Одно и то же несчастье на каждого из вас подействует по-разному... Чем ниже уровень развития человека и его положение в обществе, тем он легче сносит трудности. Но это вовсе не говорит о его силе. Все дело в другом, очень простом и понятном... Обрушившееся на голову несчастье невежественный человек не может воспринять в полную меру, в силу ограниченности сознания он не может в полную меру ощутить беду... Вот небольшой пример: не дай Бог, но допустим, внезапная болезнь приковала меня к постели... Та же болезнь поразила другого, простого человека... Допустим, вот тебя, в бурке!.. Где-то я тебя, кажись, видел...—Савле, поймав дерзкий взгляд Джанико, удивился и решил наказать наглеца.

— Я живу недалеко от реки, — пробормотал Джанико и почему-то тронул рукой кинжал.

— Здравствуй, Джанико, где ты пропадал? — с удивлением окликнул его мясник.

Миха, по мнению Джанико, был единственным добрым человеком в деревне. К такому заключению он пришел после изнурительных размышлений последних двух месяцев. Миха, случалось, давал ему хорошие куски мяса по невысокой цене. Джанико собирался было вступить в беседу с Миха, но крестьяне прервали, зашикали на них, и Савле продолжил:

— Так вот, представьте себе, что Джанико забо-

лел. Знахарь, конечно же, первым делом запретит ему много есть... Он не сможет полакомиться сочным шашлыком, разве что съест кусочек-другой, — Савле захихикал. — Но его ждет другая неприятность, более существенная — это невозможность насладиться женщиной... Каково, а, иметь законное право затащить жену в постель, но быть вынужденным из-за болезни только издали любоваться ее прелестями? — Крестьяне ухмыльнулись, Савле продолжал: — И другие более мелкие неприятности обрушатся на голову больного Джанико... Теперь нужно сказать и о том, какую для себя пользу извлечет из такой ситуации больной. Он будет лежать, окруженный заботой близких и вниманием добрых соседей... Жена собьется с ног, чтоб накормить его, сердобольный сосед пристроится в ногах и будет увеселять его байками... Будет больной спокойно лежать, ничего не делать и получать от этого удовольствие... Так чем же все-таки приятна болезнь? — Савле словно бы обращался к Миха, но сам же ответил: — Праздность!.. Да, да, любят такие, как Джанико, праздность... Ленъ свила гнездо именно в таких, как Джанико, бездельниках, — Савле даже не смотрел в сторону Джанико, он смотрел на крестьян и ядовито ухмылялся.

Джанико почувствовал, как ему перехватило дыхание.

— Теперь представьте себе, что болезнь приковала к постели меня. Представьте ходящих на цыпочках домочадцев, их осторожные, негромкие разговоры, — Савле понизил голос и прищурился. А крестьяне воочию увидели стоящую посередине огромной комнаты высокую кровать, белоснежную постель, лежащего на ней Савле, притихших домочадцев и опечаленную болезнью отца дочь — красавицу Цирунию. Все это они представили себе и разволновались.

— То, что беспокоило бы вот этого человека в бурке, — продолжал Савле, — меня не печалило бы. Я перво-наперво задохнулся бы от невозможности видеть раскинувшиеся за рекой поля с колосящейся нивой, деревья, отяжеленные налитыми солнцем плодами... Зачем мне такая жизнь, если я не смогу подставить горячему солнцу лицо, если буду лишен возможности видеть расцвеченное звездами ночное не-

бо? Трудно будет мне не поговорить с вами и не ощутить усталости от раздумий... Да, очень тяжело мне будет болеть! — Савле театрально развел руками и строго посмотрел прищуренными глазами на человека в бурке.

Джанико смутился, беспомощно оглядел одурманенных словами Савле крестьян и нерешительно пробормотал:

— При свете луны рыбы в реке похожи на клинки коротких кинжалов.

Савле усмехнулся, удовлетворенно оглядел подобострастно улыбающихся крестьян и резко сменил тему разговора.

Джанико хотел подойти к Миха, но, скованный неведомой силой, продолжал смотреть на Савле. Потом он перевел взгляд на гору и поплелся в сторону леса.

Идущий к лесу человек в бурке напоминал обугленный толстый обрубок.

* * *

К вечеру воздух стал еще тяжелее, и бесчисленные полчища комаров оккупировали деревню. В проулках не было ни души. На дверях лавки и столовой висели тяжелые замки. На опустевшей рыночной площади плешивую суку молча преследовала пестрая свора кобелей. Крестьяне разошлись по дворам. Опустив ноги в тазы с холодной водой, они лениво отгоняли ветвями назойливых комаров. Монотонно стрекотали кузнечики, временами в темноте раздавался крик осла, изредка слышалось мычание коровы, а затем вновь деревня наполнялась стрекотанием и жужжанием насекомых.

Ближе к ночи подул ветерок, и вскоре деревня погрузилась в сон.

Летняя ночь была тиха и прохладна. Перед рассветом же ночную тишину внезапно разорвали звуки выстрелов. Заспанные жители Луговой высыпали на балконы домов и с тревогой поглядывали на высокую гору, где время от времени разрывались маленькие огненные вспышки. Вскоре стрельба прекратилась, и над деревней волной прокатилась невыносимая тишина.

на. После короткой паузы из какого-то дома послышался нервный крик:

— Кто этот ненормальный?

— Джанико я, Джанико! — отозвалась гора.

Вновь воцарилась напряженная тишина.

— Какой еще Джанико? — рассерженно спросил кто-то.

— Да тот, у которого дом за рекой.

По деревне прокатился тревожный шепот: стали гадать, какой это Джанико живет за рекой. Потом вся деревня нестройно загалдела:

— Как ты посмел стрелять среди ночи?

— Что ты там потерял, несчастный?

— Раздавлю, как муравья, болван!

— Хочется и стреляю!.. Что захочу, то и сделаю! Не ваше это дело! — заносчиво крикнул Джанико, и на минуту в деревне вновь стало тихо.

— Вот сползешь, разобью твою дурную башку! — пригрозил возмущенный Савле.

— Спускаться я не собираюсь, а вот у кого разобьется башка, мы еще увидим! — отпарировал Джанико.

Крестьяне стали совещаться.

— Миха, как поживаешь, братец? — спросил Джанико.

— Куда ты забрался, ты что, спятил? — крикнул в ответ Миха.

— Ты хороший человек, Миха... Я на тебя обиду не держу!

— Спускайся немедленно... Сожрут тебя звери! — рассердился Миха.

— Если звери соображают что-нибудь, они обойдут меня стороной... Голыми руками разорву!.. — В голосе Джанико звучал металл.

— Есть жена у этого бедолаги? — неслось от дома к дому.

— Была да сбежала... Кто согласится жить с таким зверем.

Жена Джанико стояла на балконе отчего дома, плотно сжав губы.

— Он, наверное, сам ее бросил, — пошутил кто-то. — Решил жениться на медведице...

— Какая уважающая себя медведица пойдет за

него? — подхватил шутку другой. — Разве что найдется какой-нибудь старый, немощный медведь... ведь и ему нужно, чтобы время от времени кто-то прибрал берлогу.

— Эй ты, медвежья невеста! — крикнул Савле.

Вся деревня расхохоталась. Со всех сторон посыпались ядовитые издевки, потом на Джанико обрушились грозные проклятия сельчан. Но вот снова раздались частые выстрелы, вслед за этим — голос Джанико:

— Будь здоров, Миха!.. А я пошел наверх!

Гора смолкла, а взбудораженная деревня до рассвета уже не сомкнула глаз.

* * *

Долго еще у всех крестьян на устах было имя Джанико. Они собирались на рыночной площади и горячо обсуждали необычное происшествие. Джанико сделался притчей во языцех. Месяца два не могла угомониться деревня. Но пришло время урожая, все занялись делами и про Джанико стали забывать.

К концу осени наступили холода. Фрукты были собраны, в зарытых в землю огромных кувшинах бродило молодое вино, на полях в большие стога было уложено сено. Лес вокруг Луговой поредел и выцвел.

Мужчин потянуло к теплым очагам. Изнуренные бездельем, они с утра до ночи лениво заигрывали с женщинами и пользовались любой минутой, чтоб забежать в погреб и попробовать молодого вина. Частые дожди размыли проулки и посеревшие оголенные дворы.

В Луговой по осени обычно играли свадьбы. Вот и в этом году сыграли несколько, отметили появление на свет младенцев.

Однажды ночью, когда деревня не кутила и не справляла свадьбы, жителей внезапно разбудил крик мужчины, вышедшего по нужде из дома. Люди, полуодетые, выскочили во дворы и удивленно смотрели на гору. На вершине ее горел лес, и отсветы гигантского костра окрашивали все вокруг красным цветом. Крестьяне не могли оторвать глаз от горящей горы. Спросонок они воспринимали это зрелище как сновидение.

дение. Но вскоре подул западный ветер и языки пламени, словно красные змеи, поползли к деревне. Искры светлячками посыпались на крыши домов. Испуганные мужчины схватились за головы и, чтобы предотвратить пожар, прихватив мокрые бурки, выскочили на кровли. Женщины с медными кувшинами в руках, галдя, стали преследовать необычных светлячков, уничтожая их водой. Ветер усиливался. Разгоралось и пламя. По склону горы широкой полосой неторопливо полз к деревне огонь. В хлеву заметались животные. Заскрипели ветхие двери коровников. Мужчины ловко гасили искры на крышах, женщины не отставали от них, и казалось, что они уже справились с неожиданной бедой, как вдруг из леса с воём вырвались медведи. Жители влетели в дома, надежно заперли двери и сквозь узкие щели испуганно озирали улицу. Густой дым заволок всю деревню, полоса огня неумолимо приближалась. Запертые в хлеву животные, почуяв медведя, выломали двери и бросились к дальним склонам. Деревне грозило полное уничтожение. Сползшее с горы пламя уже лизало окраинные дома. Но в это время, к счастью, полил щедрый осенний дождь... Гора зашипела, пламя бессильно затрепыхало, и вскоре все вновь погрузилось в темноту.

Утром гора походила на клейменного великана. От вершины вниз по склону тянулась широкая обугленная полоса. Дворы и проулки в деревне были покрыты пеплом... Проклятья и угрозы жителей с новой силой обрушились на гору. Пожар — дело рук Джанико, шептались по углам женщины, а две старушки уверяли, что и медведей согнал на деревню Джанико, они якобы собственными глазами видели, как медведи согнали скотину в стадо на рыночной площади и погнали в сторону леса. Крестьяне обошли окрестности, долго разглядывали в бинокль леса и горы, но следов животных так и не обнаружили. Во всей деревне только у Савле остались мул да осел.

Озлобилась деревня. Разгневанные крестьяне собирались на рыночной площади, посматривали на покосившуюся гору и во всеуслышание слали проклятья Джанико. Более других свирепствовал Савле, грозя «мерзкому разбойнику» расправой. А Джанико молчал и не подавал признаков жизни. Облегчив душу

проклятиями, деревня постепенно успокоилась. Жили здесь зажиточно, многие еще до пожара успели засолить мясо, да и мясник Миха всю зиму усердно снабжал деревню свежим мясом. Зиму пережили достаточно легко. Уютно пристроившись у теплых очагов, сельчане без конца вспоминали ту страшную ночь, когда случился пожар, думали об этом беспрестанно, и в конце концов, когда солнце стало набирать силу и снег раскис, уже все утверждали, что пожар возник скорее всего от удара молнии. Куда исчез скот, крестьяне толком не могли объяснить, но прошло время, весеннее тепло и пробуждающаяся природа заставили жителей деревни забыть ту страшную ночь, — так забывают о тяжелой, но благополучно перенесенной болезни.

Лес вокруг деревни покрылся курчавой зеленью. Набравшая силу река несла вырванные с корнем ольховые деревья. Возвращались в деревню ласточки. Крестьяне потянулись в поля распахивать потеплевшую землю. Чаше стал появляться на рыночной площади Савле, за ним, словно тень, следовал здоровяк Шакро.

Как и всегда, этой весной опять появились в деревне запряженные тяжеловозами фургоны. Савле еще по пути в деревню встретил караван и раньше других поведал приезжим о странных событиях последних дней. Старосту сочувственно выслушали, заглянули в опустевшие хлева, долго разглядывали обожженный склон и пообещали крестьянам до наступления нового года посодействовать в приобретении породистой скотины. В тот же день перед лавкой состоялся импровизированный суд, на котором Джанико заочно был приговорен к пожизненной каторге...

На рыночной площади, как обычно, развернулась ярмарка и всю неделю до наступления темноты показывали веселые представления. Затем гости нагрузили фургоны покупками, собранной податью, подношениями, и длинный караван отправился в обратный путь по дороге среди холмов, ведущей в город.

Частые весенние дожди резко сменились летней жарой, и деревня погрузилась в однообразную скучную жизнь. До захода солнца крестьяне трудились на полях, днем по опустевшим улицам деревни слонялся

только Савле в сопровождении Шакро. Лентяй Шакро уже давно передал свой участок в собственность Савле, за что получал от старосты небольшую часть прибыли. Ковырянию в земле Шакро предпочел безделье. Теперь он хвостом плелся за Савле, таскал за ним высокий заграничный стул и с особым подобострастием выслушивал его мудрые изречения. Из уважения к Савле крестьяне и к верзиле Шакро относились с почтением... Эта пара разгуливала по деревне, а крестьяне, кроме своих участков, добросовестно обрабатывали и землю Савле. Время от времени они навевались на площадь для беседы со знатным сельчанином.

В один из прекрасных летних вечеров вернувшиеся с полей уставшие крестьяне собрались на рыночной площади. Солнце уже зашло, но было еще довольно светло. Посередине площади, на высоком стуле гордо сидел Савле и спокойно пересказывал внимательно слушающим сельчанам содержание только что прочитанной, полной приключений и героических деяний книги. За старостой деревни, как верный страж, стоял верзила Шакро. Заинтересованные крестьяне неотрывно глядели на Савле. Внезапно лицо старосты посерело и слово застряло в горле. Жители деревни перевели взор в сторону, куда смотрел Савле, и застыли как вкопанные — по выжженному склону катился огромный камень. У основания горы круглый, как арбуз, валун подпрыгнул, пролетел над рыночной площадью и стремительно покатился вниз. По пути он, казалось бы сознательно, перепрыгнул через дома, обогнул дворы и с шумом плюхнулся в реку, окатив обветшалый мост фонтаном брызг.

На площади воцарилась могильная тишина. Крестьяне с недоумением глядели на выжженный склон... Раньше других очнулся Савле. Послав проклятья в сторону горы, он с несвойственной его возрасту прытью, не оглядываясь, помчался к дому. С легкостью ветра пронесся он по деревне и влетел в дом. Неотступно следовавшие за ним крестьяне, галдя, заполнили просторный двор старосты. На балкон вышла красавица Цируния и с удивлением смотрела на взволнованных соседей. Дома Савле быстро успокоился, подошел к зеркалу, оправил на себе одежду, намо-

чил волосы и тщательно причесался. Вернув себе привычный величественный вид, староста вышел на балкон и стал рядом с дочерью.

Деревня погружалась в темноту.

— В чем дело? — строго спросил Савле крестьян. Гомон мгновенно затих. — Почему смылись с площади?! — повысил голос Савле. — Неужели все вы заячьей породы?

Крестьяне пристыженно опустили головы.

— Так струсить из-за одного камня?! — продолжал староста. — Сейчас же следуйте за Шакро, стойте на площади и клеймите нечестивого разбойника, пока он не потеряет всякое желание... Шакро, погони этих гусей на площадь!.. Завтра я сам возьмусь за дело!..

Приободренные сельчане поднялись на площадь, повернулись лицом к горе и до глубокой ночи щедро осыпали Джанико бранью. Гора молчала.

Пока крестьяне слали Джанико проклятия, Савле не терял времени даром. Среди беспорядочно разбросанных в подвале вещей он отыскал пушечные ядра, вынес их во двор. Потом намочил тряпку в керосине и как следует вычистил старую пушку.

Савле, который, как уже известно, объездил полмира, отовсюду понавез вещей на память. В бытность матросом, пока ремонтировали корабль, на котором он плавал, Савле некоторое время жил в порту, который назывался звучно — Сингапур. Город-крепость охранялся огромным количеством пушек. Через каждые пять лет устаревшие пушки менялись на новые, и именно на это время пришлось вынужденное пребывание Савле в Сингапуре. За бутылку водки он приобрел у спившегося офицера вместе со списанной пушкой и ядра, погрузил все это на корабль — Савле занимал на судне почетную должность (был личным поваром и ближайшим советником капитана!). Так попала сингапурская пушка в деревню.

На следующее утро после того, как с горы покатился камень, широко распахнулись ворота самого примечательного дома в деревне и в двуколке, которую тишил мул, выехал Савле. В двуколке лежали большие ядра, а за ней следовал осел — он волочил тяжелую пушку. Процессию замыкал Шакро с обна-

женной шашкой в руке... По дороге к площади грозная пушка обрастала огромным количеством воодушевившихся крестьян.

Добравшись до площади, Савле приказал отвести мула и осла в укрытие и с помощью Шакро зарядил пушку. Сельчане в страхе следили за действиями бывшего моряка. Савле старательно целился и в течение часа выпустил по выжженной полосе на горе десять снарядов. Окрестность заволоскло дымом и пылью. Крестьяне, заткнув уши пальцами, удовлетворенно улыбались.

— Эта пушка отныне будет стоять здесь! — грозно изрек Савле.

Затем он вручил растерянному Шакро длинную подзорную трубу и назначил его наблюдателем. Ему поручалось с крыши самого высокого дома внимательно вести наблюдение за горой. Отныне Савле не отлучался с площади; с утра до позднего вечера он ходил вокруг пушки и время от времени вызывающе поглядывал на гору.

Жители деревни немного успокоились.

* * *

Прошло два месяца. Джанико не давал о себе знать. Колосющаяся за рекой кукуруза обросла молодыми початками. На виноградниках появились первые гроздья. Усыпанные плодами деревья походили на новогодние елки. В садах по-прежнему стояли сооруженные Джанико обтрепанные, вылинявшие чучела.

Крестьяне готовились к сбору урожая. Мудрый Савле и сидящий на крыше высокого дома дозорный усердно охраняли деревню. Бездействие разбойника окончательно успокоило сельчан. В душе и Савле праздновал победу и только было собрался освободить Шакро от новой обязанности, как вдруг среди белогонья с вершины горы покатился вниз огромный валун. Выжженная полоса на склоне горы окуталась густой пылью. Пролетая над площадью, валун будто невзначай задел пушку, разнес чей-то хлев, гигантскими прыжками перескочил через деревню и с шумом упал в реку.

Загудела деревня. Крестьяне бросили работу, и

вскоре у реки собралась огромная толпа. Все долго и бессмысленно глядели на мутные волны, а затем, галдя, направились к рыночной площади.

Посреди площади валялась перевернутая пушка без ствола. Ствол, оказывается, упал на ядра, и одно ядро, подскочив, как мяч, повредило Савле два ребра. Не в лучшем положении был и дозорный: завидев летящий камень, он от страха позабыл, что находится на крыше дома и вознамерился бежать. Сделав несколько шагов, он скатился с крыши и зашиб ногу... Вокруг пострадавших суетились женщины. Лицо заплаканной Цирунии было перепачкано пылью.

Незаметно подкралась ночь. Когда легкий ветерок подул в сторону горы, Савле доплелся до середины площади и, опершись о перевернутую пушку, крикнул:

— Ты что, совсем совесть потерял, сучье отродье!..

Гора-великан не издала ни звука.

— Ты еще проклянешь день, когда появился на свет, свинья, свиная вошь!.. Завтра же прикажу вырыть у тебя во дворе глубокую яму, заксаю в нее самый большой кувшин... Не подумай только, что для вина, дурак! Выловлю тебя, посажу в кувшин, всю жизнь просидишь в нем голышом! — воскликнул Савле и повернулся к народу: — Он, наверное, решил нас всех истребить?!

Гора по-прежнему молчала.

— Есть у этого медвежьего наперсника жена и близкие?! Выловим всех — тестя, тещу... всех, аж до девятого колена, и посадим в кувшины!.. — грозился Савле.

Вдогонку словам старосты сыпались проклятия сельчан.

— Думаешь, показал, какой ты герой?! В тебе что, ничего человеческого не осталось? Если ты был недоволен чем-то, сказал бы, неужто мы не поняли бы тебя?! И жил бы ты себе спокойно... Но сколько волка ни корми!.. Видать, по сырому мясу истосковался, вот и подался в лес!.. — продолжал Савле.

— Если спустишься и на коленях будешь вымаливать прощенья, может, и простим тебя! — крикнул Шакро.

—Ладно уж, если и в самом деле попросишь прощения, постараемся помиловать тебя, — ^{СМЯГЧИЛСЯ} Савле.

Гора по-прежнему безмолвствовала, люди напрасно ждали ответа.

На площади состоялся совет. Люди потребовали послать в гору вооруженных мужчин. Но поразмыслив, решили, что это бессмысленно: последний раз жители деревни пользовались лесом на горе полвека назад. Потом стали рубить лес на дрова у реки и сплавляли его до деревни: так было выгоднее. А лес на горе с тех пор так разросся, что стал непроходимым. И зверья там прибавилось. Подумали, взвесили все крестьяне и вновь оказались в тупике...

По указанию Савле в последующие дни жители деревни разобрали осиротевший дом Джанико на дрова. Затем его бывшую жену выдали замуж за Датику и назло разбойнику справили такую шумную свадьбу, что звери в лесу не могли сомкнуть глаз. В деревне произошли и другие события. Парикмахер Габо с юности мечтал стать мясником. Особенно он завидовал Миха в последнюю зиму, когда деревня лишилась скота и от покупателей у Миха отбою не было. Мясник так внезапно разбогател, что чуть было не сравнялся по богатству с самим Савле. Габо никогда ни с кем не делился своей мечтой, а вот сейчас воспользовался удобным случаем и напомнил Савле о прошлой дружбе Джанико и Миха. И вот, по распоряжению старосты, Габо вскоре занял место за прилавком, а Миха было поручено исполнять обязанности парикмахера. Не хлебная эта профессия в Луговой, редко кто из крестьян изъявлял желание постричься или побриться. Ну как было не озлобиться бывшему мяснику!

В трудах и заботах незаметно промелькнули прохладные осенние дни. С утра и до глубоких сумерек работали крестьяне в поле, затем поднимались на площадь и, дождавшись ветра, дуящего в сторону горы, посылали Джанико страшные проклятия, причем не чурались и самых крепких слов, в коих так поднаторел в плавании Савле. И поэтому по вечерам непорочные деревенские барышни не смели и приблизиться к рыночной площади. Миха стоял на пороге

пустой парикмахерской и, сучая, внимал площадной ругани, в которой состязались Савле и крестьяне.

А Джанико все молчал.

К концу октября подошел ртвели. Крестьяне починили арбы, тщательно вымыли большие кувшины для вина. И вот от виноградника к винограднику потянулась невеселая песня крестьян. Они собирали урожай, опасно поглядывая на гору.

Однажды в тихий полдень, когда Габо вместе с другими работал в винограднике, окончательно потерявший терпение бывший мясник стал посередине площади и хрипло крикнул в сторону горы:

— Джанико, братец!... Парикмахер Габо разрушил твой дом и только и делает, что честит тебя!

Не успел Миха закончить фразу, как с вершины горы покатила большая округлая глыба и угодила в крышу стоявшего на окраине дома Габо. Снесенная железная крыша зонтом пролетела над деревней, упала на перекинутый через реку старый мост и снесла его в воду...

На следующий же день, рано поутру, со скрипом отворились тяжелые ворота известного всем дома и появился Савле, восседающий на муле. Двуколка, в которую был запряжен мул, доверху была нагружена толстыми книгами, за ней с обнаженной шашкой в руке чинно следовал Шакро. Они держали путь в сторону рыночной площади.

Мул неторопливо преодолел подъем и остановился у лавки. Шакро вложил шашку в ножны, подхватил Савле, как ребенка, и опустил его на землю. Сучающий на пороге парикмахерской Миха вскочил и испуганно спрятался за дверь. Савле потребовал высокий стол. Крестьяне засуетились, забежали в парикмахерскую и вытащили оттуда рабочий стол Миха. Савле соорудил посреди площади нечто похожее на кафедру. Шакро перенес тяжелые книги с повозки на стол. Савле дождался, когда ветер стал дуть в сторону горы Джанико, и только тогда заговорил:

— Ты видишь эти толстые книги, невежествен-

ный?! Взгляни, взгляни, ты издали увидишь, какие они толстые... Ты, небось, ни одной книги не прочел за свою жизнь, потому такой дурак?! Так знай, дубина, что, кроме сказок, в книгах написано еще много чего... — Савле листал книгу с золотым тиснением, бросал взгляды на вершину. — Здесь вот — жизнеописание высококонравственных людей, честных, благородных, но авторы изучили внимательно и психику таких людишек, как ты... Психика!.. Психология!.. Это наука, дурень, а не китайская азбука.. Большая наука!.. Она так же ясно видит внутренний мир каждого человека, как я эту гору... Поэтому не удивительно вовсе, если здесь я найду слова, сказанные и о тебе... Так наостри свои ослиные уши и слушай! За эти два месяца я перечитал все эти книги, не пропустил ни строчки. Я долго размышлял, сопоставил все, и в соответствии с размышлениями ученых пришел к выводу, что ты вовсе не существуешь на свете!.. Да, не существуешь! — Савле выдержал длительную паузу, вытянулся по-военному и смело уставился на гору.

Потрясенные крестьяне широко раскрыли глаза.

— Это так, так! — продолжил Савле. — Пока ты жил в деревне и ворочал мотыгой землю, ты и впрямь существовал... А теперь уже нет!.. После того, как подался в разбойники, ты начисто исчез из этого мира! Если не веришь, могу сейчас же доказать это, — Савле повернулся к сельчанам, а потом вновь уставился на гору. — Во-первых, физически тебя не видно, и ни одно из моих ощущений не подсказывает мне, что ты существуешь; сломанные ребра не в счет... После пожара скала, наверное, потрескалась, вот камни время от времени и скатываются вниз. А выгоревшая полоса поневоле выполняет роль точильщика — пока камень катится, он округляется, как арбуз... Вот и все!.. Никакой тайны здесь нет!.. Понятно?! — обернулся Савле к потрясенным крестьянам и продолжил: — Во-вторых, я спросил каждого жителя деревни и все подтвердили: Джанико был ленивцем, потому и жил бедно. До того, как он подался в лес, жена его здорово отделала и сбежала от него. Ответить жене, как подобает мужчине, ты, трус, конечно же, не посмел. Ты недоумок и се-

рость... Не может ягненок смело глядеть на волка!..
Это доказывают мужи науки, хотя предполагают, что
возможен такой случай — один на сто тысяч... Но да-
же в этом случае существует особая закономерность.
Если забитый, трусливый человек вдруг настолько
осмелел, что не испугался жить в одиночку в лесу,
то у него должно хватить смелости хотя бы однажды
показаться жителям деревни. Не покажется, значит
его в действительности не существует... Такой чело-
век может существовать только в воображении лю-
дей, а не в реальности... Об этом говорит знаменитый
сингапурец Мак Блебей... То же повторяет занзиба-
рец Ден-Ден, знаменитый светила Непхия Ашенели,
европеец Крафт и многие другие известные ученые...
Вот, пожалуйста, мы стоим на площади, и если ты в
самом деле существуешь — покажись!..

До первых петухов бродили сельчане по площа-
ди и напрасно ждали появления Джанико. Для того,
чтобы выманить разбойника из леса, Савле употре-
бил все свое красноречие, но гора молчала.

Несколько усомнившись в существовании раз-
бойника Джанико, крестьяне развеселились и с весе-
лым гомоном покинули площадь.

Одна из женщин случайно слышала, как Миха
жаловался Джанико и поделилась этой новостью с
мужем. Миха тотчас связали и посадили в кеври
посреди двора Савле. Охранять кувшин поручили во-
оруженному Шакро. А напуганный Габо вернулся к
своей прежней профессии парикмахера.

Камни, скатившиеся с горы, напугали не только
Габо, но и женщин деревни. Суеверные клали под
крыши домов амулеты, без конца шептались между
собой, судачили о постигшем деревню несчастье, а
по ночам тихо читали заклинания над уснувшими
мужьями:

Упаси тебя Господь от страха,
от голода в доме,
от долга злому человеку,
от кляуз блудницы,
от высокой волны,
от падающего камня.



Трудно пришлось деревне без моста. Крестьяне не могли привезти домой собранный урожай. Запаздывали торговцы, которые пригоняли для сельчан быков. Простаивали арбы. Прямо в поле, под открытым небом лежали горы кукурузы, в садах опадали фрукты, перезревал виноград на обширных виноградниках.

Некоторое время крестьяне еще ждали торговцев, потом, собрав-таки виноград, в корзинах стали перетаскивать его во дворы. Задрав штанины, переходили они вброд реку и, проклиная все на свете, тащили на себе тяжелые корзины. Савле верхом на муле носился по проулкам, подбадривая их.

А красавица Цируния в последнее время стала вести себя странно: ежедневно меняя наряды, она с утра до вечера, напевая, разгуливала по рыночной площади и бросала вызывающе-кокетливый взгляд на вершину горы. Савле сердился, грозился запереть ее дома... Но дочь ни во что не ставила угрозы отца.

В канун Нового года торговцы наконец пригнали в деревню скот. Обрадованные сельчане набили карманы извлеченными из тюфяков золотом и серебром и отправились на торги. Рыночная площадь была забита всякого рода скотиной, но даже за тощих коз и беспородных свиней приезжие заломили обжигающие руки цены. Крестьяне весь день провели на площади в тяжелых и нудных торгах.

К вечеру раздался грохот. Огромный камень, скатившись до подножия, подпрыгнул, словно заяц, попал в вола, подхватил его и, словно клопа, раздавил на новой крыше дома Габо. Черепица разлетелась во все стороны, легко ранив несколько человек и животных. Разрушив и амбар, камень упал посреди двора парикмахера.

Завопили в ужасе женщины, крестьяне, сломя голову, помчались к реке. Торговцы в мгновение ока вскочили на лошадей и умчались из деревни. В оставшуюся без присмотра скотину словно бес вселился: быки с налитыми кровью глазами стали кружить по площади, опрокинули лавку, разнесли парикмахерскую, а затем помчались вдогонку за торговцами. За

быками последовали буйволы, за буйволами — коровы, за коровами помчались овцы да козы, и вскоре глухой топот смешанного стада послышался из далеких, словно переплетенных между собой холмов.

Сельчане стояли на берегу и с болью в сердце прислушивались к затихающему топоту убегающего стада. Только когда топот затих, люди вспомнили об изувеченных односельчанах. Засуетились женщины, уложили раненых на землю, обмыли кровоточащие раны... Вдруг здоровенный детина, брат одного из покалеченных, заорал и что было силы дал пинка Савле. В первую минуту все опешили, но затем вспомнили, как была выдана за хромого Датико бывшая жена Джанико, как по приказу Савле разобрали дом Джанико, вспомнили и поденщину на земле старосты и, озлобившись, вдруг грозно двинулись на некоронованного правителя деревни. Савле, почувствовав недоброе, быстрее зайца преодолел подъем и скрылся в проулке.

Возбужденные сельчане не стали догонять старосту, а там же, на берегу реки, собрались на совет.

Застав у себя во дворе стоящего навтыяжку с обнаженной саблей Шакро, Савле в отместку наградил его пинком. От неожиданности страж выронил саблю. А староста вклепил опешившему Шакро еще и оплеуху, потом наклонился над зарытым в землю кувшином и осторожно заглянул внутрь.

— Здравствуй, Миха!.. Как поживаешь?.. — спросил он осторожно.

Узник, прижавшись коленями к стенке кувшина, стоя, дремал, но тотчас очнулся и с тревогой посмотрел наверх, по его бледным сухим щекам потекли слезы.

— Худо... — жалобно заскулил он... — Очень уж жестокий страж у тебя, батоно Савле...

Савле вытащил из кармана большой кусок сахара, протянул его узнику и ласково сказал:

— Напрасно ты страдал, мой дорогой Миха... Во всем эти гнусные крестьяне виноваты. И стражник у тебя настоящее животное... Другого такого болвана во всей деревне не сыскать... Хотя все они друг друга стоят... Это они пристали ко мне в одну душу — посади, мол, мясника в кувшин... Ну теперь уж я оты-

граюсь!.. Хочешь, братец Миха, быть моим помощником, а?

— Конечно, хочу! — крупные слезы ^{УДИВИТЕЛЬНО} ~~ВНОВЬ~~ ^{ПО} лились по щекам Миха. — Ты только вели служить тебе и увидишь, что не стыдно будет за меня.

Повернувшись к нахохлившемуся Шакро, староста строго произнес:

— Подойди, предатель, и помоги невинному мученику вылезти из кувшина!

При слове «предатель» Шакро пожелтел и, почему-то прихрамывая, побежал к кувшину.

— Брось саблю, болван, — закричал Савле. — Проси прощения у благородного Миха, полезай в кувшин и помоги ему выйти!

Разжалованный страж попытался было оправдаться, но не смог произнести ни слова и расплакался от собственной беспомощности. Савле велел ему стать на колени перед кувшином и помочь вылезти Миха. Вцепившись в протянутые к нему руки и повиснув на них, Миха поневоле затащил Шакро в кувшин. Шакро ударился головой о дно кувшина и потерял сознание.

— Негодяй! — грозно кричал Савле. — Помоги выбраться безвинно пострадавшему человеку!

— Шакро, кажись, неважно себя чувствует, — донесся из кувшина голос Миха.

— Подожди, братец, я сейчас принесу лестницу! Савле вошел в дом и растормошил спящую дочь.

— Отыщи чоху, которую я носил в молодости, — нервно сказал он. — Подбери целую, не изъеденную молью... И вынеси мыло. Во двор!

Цируния выслушала отца и молча повернулась на другой бок. Савле взорвался, в ярости вцепился ей в волосы, поднял с постели и открыл тяжелую крышку старинного кованого сундука.

Пока Цируния копалась в сундуке, Савле принес узнику лестницу. Наверху у Миха от свежего воздуха закружилась голова.

— Слушай, Миха, возьми мою саблю, встань вот здесь и, как только этот верзила высунет голову из кувшина, тотчас отруби ее, — сказал Савле. — А я приготовлю тебе поесть и одеться.

Смущенно улыбаясь, Миха взял саблю и, широко расставив ноги, встал над кувшином.

Как и в любом зажиточном доме, в доме Савле вертелось множество народу. Жену свою, подарившую ему Цирунию, он оставил где-то в Азии. Мелкие и крупные домашние дела у него выполняли обычно соседи, родственники и относящиеся к Савле с почтением жители деревни. Но сейчас бесчисленная челядь вкупе с остальными крестьянами совещалась на берегу реки и потому не привыкший к работе Савле с бранью носился по двору.

Цируния отыскала в сундуке чоху кизилового цвета и вынесла ее на балкон вытрусить.

— Доставь удовольствие этому уроду, скажи ему пару ласковых слов, — в сердцах прошипел Савле дочери, изумленной видом стоящего с саблей в руках Миха.

— Здравствуй, Миха! — ласково произнесла Цируния.

— Отныне он не мясник!.. — Савле, задыхаясь, тащил по двору огромный котел. — С сегодняшнего дня Миха мой заместитель.

— А ты, Миха, оказывается, пригож лицом, — продолжала с улыбкой Цируния. — Недаром говорится, нет худа без добра! Смотри-ка, и живот исчез, стройный стал... Жаль мне твою жену, не будет у тебя отныне отбоя от женщин.

Миха покраснел от смущения и прикрыл рукой истрепанную ширинку штанов. Савле дотащил котел до родника и повернулся к бывшему узнику.

— Дорогой Миха, сними с себя эти лохмотья!.. Сейчас я тебя одену в королевскую чоху... Но сначала помойся как следует... Вот мыло...

Миха вразвалку, кавалерийской походкой направился к роднику. Савле разбавил воду в котле, встал на пень и взял в руки ковш.

— Раздевайся! — сказал Савле, а потом, повернувшись к дочери, крикнул: — Зайди в дом!..

Сельчане долго совещались, но так и не придумав ничего путного, двинулись к дому Савле. А тот тем временем вовсю понося луговчан, помогал мыться бывшему своему узнику. Потрясенный необычным вниманием старосты, Миха успокоился, тщательно

вымылся, и настолько осмелел, что даже подставил некоронованному королю деревни спину, чтобы тот как следует потер ее.

— Как посмел Датико привести в дом жену Джанико?! — сердито говорил Савле. — Да и мы хороши, что позволили ему это... Вот кого следовало бы заточить в кувшин! Совратил добропорядочную женщину, а мы теперь расхлебывай! Да, Миха, нам с тобой исправлять эту ошибку. Сейчас мы с тобой оденемся, пойдем к Датико и отберем у этого колченогого жену!.. Пусть она вернется в свою семью!.. Ну, а теперь пошли в дом!..

Темно-красная чоха пришлась Миха как раз впору. И сапоги оказались в самый раз. Миха с удовлетворением оглядел себя в зеркале и потребовал еще серебряный пояс с кинжалом:

— Ты достоин даже золотых украшений, мой Миха! — польстил мяснику Савле и повернулся к Цирунии: — Разве найдется еще такой представительный мужчина в деревне?

Вытянувшись, Миха разглядывал себя в зеркале.

— Если пребывание в кувшине так пошло тебе на пользу, надо было раньше сесть туда, Миха, — пошутила Цируния. Стоя на коленях перед очагом, она пыталась разжечь потухший огонь.

А Миха все не мог оторваться от зеркала. Савле протянул ему расческу и пошел за поясом и кинжалом. Миха тщательно расчесал также и густые, сросшиеся на переносице брови и торжественно прошелся по комнате. Подойдя к Цирунии, он наклонился и, хитро улыбаясь, ущипнул ее. Цируния вскочила, в мгновение ока схватила кувшин и ударила ухажера по зубам. Миха, точно слюну, проглотил довольно большой кусок глины. Девушка тут же схватила медный кувшин, но Миха успел пулей выскокить во двор.

Вскоре во дворе появился староста с поясом и кинжалом. Оскорбленный Миха отказался от подарков, поднял с земли саблю, перекинул ее через плечо и скромно стал за спиной Савле, который, наклонившись, что-то крикнул сидевшему в кувшине Шарро. Затем староста и его новый заместитель быстрым шагом вышли со двора.

Сомкнувшись, плечом к плечу, нахмуренные сельчане тяжелым шагом приближались к дому Савле. Раненых поддерживали под руки мужчины. За разгневанными мужчинами, негромко причитая, шли женщины.

Железные ворота поместья Савле оказались запертыми. Мужчины молча взвалили на плечи лежащее у ограды бревно, приготовились было разнести ворота, как в тишине со стороны рыночной площади послышался бодрый, бравый окрик Миха:

— Здравствуй, брат мой Джанико!.. Как поживаешь?

Через минуту до слуха собравшихся у дома Савле крестьян донесся и жалобный голос женщины:

— Мой Джанико, это я, твоя жена... Соскучилась я по тебе, Джанико!

— Джанико!.. Твои односельчане хотят поговорить с тобой, ты слышишь?! — послышался голос Савле.

Крестьяне осторожно положили бревно на место, переглянулись и помчались к рыночной площади.

...До рассвета стояли люди на площади, с надеждой взирая на гору. Жена Джанико и Миха от долгого крика совсем охрипли. Краснобайствовал Савле, крестьяне надрывались от крика, но Джанико не отзывался. И люди стали покидать рыночную площадь.

* * *

Безрадостный Новый год пришел в деревню. Крестьяне были в отчаянии. Они вновь остались без скота. Лишь с десятков семей успели приобрести животных — напуганные торговцы не появлялись в деревне. Миха вновь встал за прилавок, но добывать мясо, как прежде, ему уже не удавалось. От постоянного употребления в пищу овощей да кукурузных лепешек луговчане отощали — ведь в прежней привычной жизни редко какой день проходил без шашлыка, но еще более мучил их постоянный страх. Тревога не покидала их даже во время сна. После ночных кошмаров они чувствовали себя по утрам уставшими и разбитыми. Чувство страха удесят�ерялось молчанием Джанико. Каждый вечер жители подни-

мались на рыночную площадь и с мольбой обращались к разбойнику. Но тот все молчал.

Больше всех в деревне доставалось от Джанико парикмахеру. Все были убеждены, что Джанико мстит ему по наущению Миха. Когда огромный валун вторично снес крышу его дома, парикмахер, недолго думая, погрузил на арбу все свое имущество, впрягся в нее вместо вола и в сопровождении членов семьи спустился к реке. Здесь он наспех построил сарай из дранки и поселился в нем, отказавшись от своей работы до наступления более спокойных времен.

В деревне многое изменилось. Казалось бы, Джанико мог быть доволен: бывшая жена его вернулась в отчий дом, хромой Датики покалечил вторую ногу, Габо переселился в поле, верзила Шакро сидел в кувшине, а Миха ходил в заместителях Савле. Несмотря на это разбойник по-прежнему оставался в горах. Не действовали на него ни мольбы жены, ни дружеские уговоры Миха, ни красноречие Савле, ни сетования сельчан.

Шло время, и удрученные молчанием Джанико крестьяне обозлились почему-то на своего старосту. Савле чувствовал враждебность паствы и по вечерам на рыночной площади, как мог, восхвалял Джанико.

Собрались восстанавливать разрушенный мост. Потрудились на славу плотники, возле самого моста распилили бревна на доски и аккуратно сложили на берегу. Но староста распорядился материал для строительства моста перенести во двор Джанико и построить ему новый дом. Дело быстро двигалось вперед. Строительством руководил сам Савле и его новоиспеченный заместитель. Сельчане охотно помогали плотникам, надеясь тем самым умилоstitвить Джанико.

Красавица Цируния, делая вид, что прогуливает свою длинношерстную собаку, продолжала фланировать по рыночной площади. В действительности же все мысли ее занимал разбойник Джанико. Савле смирился с этой причудой дочери и не стал ей перечить.

Дом Джанико рос буквально на глазах, и обод-

ренные сельчане в сумерки оповещали об этом Джанико. Холодный ветер доносил их голоса до горы, но та молча взирала на деревню.

* * *

Февраль был на исходе. Сельчане вычислили, что по выжженному склону валун скатывался с точно определенной последовательностью — раз в два месяца. Приближался очередной срок. Староста и его заместитель мобилизовали на строительство дома Джанико всех мужчин. Двадцать седьмого числа перекрыли крышу и в знак перемирия водрузили белый флаг.

— Этот дом принадлежит тебе, Джанико! — кричал вечером с площади Миха. — Подарок от односельчан... Ты можешь утешить свою опечаленную жену, разжечь потухший очаг...

Разбойник молчал.

Жена Джанико переселилась в новый дом.

Последние два дня месяца растянулись до бесконечности. Крестьяне, словно призраки, бродили по деревне. Деревня напряглась, точно натянутая струна.

Двадцать девятого пополудни по склону с шумом покатился камень величиной с луну, наскочил на дом пастуха, пробил стены, затем сразил наповал бредущего по проулку мула Савле и глухим выстрелом отозвался в реке.

Лопнула натянутая струна. Жители деревни, охая и ахая, словно на них горит одежда, обежали всю деревню и собрались во дворе пастуха. На противоположных стенах дома зияли два больших отверстия, а покосившийся дом походил на человека, пронзенного огромным вертелом. На счастье, в тот момент в доме никого не было, бледные домочадцы испуганно жались у ворот. Сам же хозяин преспокойно храпел с перепоею в пустом хлеву.

— В тебя должен был попасть этот камень, — обрушился на него Миха. — Знает Джанико, в чей дом целиться... Не пора ли отрезвиться, забулдыга?!

Излив душу, Миха возглавил шествие сельчан на рыночную площадь. Мужчины последовали за ним, не было видно только старосты деревни. На площа-

ди, не дожидаясь ветра, дующего в сторону горы, Миха что есть мочи крикнул:

— Джанико, братец!.. Я знаю, что ты хорошо целишься, но у камня нет мозгов и он может угодить в голову и мне... Ты что хочешь, чтобы я протянул ноги?! Ну скажи, Джанико, скажи, кого мне посадить в кувшин?..

— Уверен, Джанико обрадовался бы, если бы в кувшине оказался Савле, — сказал брат крестьянина, раненного черепицей. — Ведь его мул валяется, расплющенный, как лепешка... Не зря он попал именно в него.

Миха надолго задумался. Крестьяне негромко, но так, чтобы слышал Миха, ругали старосту.

— Вспомни, как он поносил Джанико!.. Разрушил его дом, а жену выдал за хромого Датику... И тебя не пощадил, сколько времени держал в кувшине. И на меня натравил понапрасну... Разве не остались на руках твоих мозоли от даровой работы на его поле?.. — распалая крестьянин мясника.


— Правда! — внезапно взорвался Миха. — Поручил все этот нечестивец! В самую зиму искупал меня посреди двора у родника... Кормил холодным мчади... Не дал пояса с кинжалом, скряга... И почему он себе позволяет это? Только потому, что у него красивая дочь? Или потому, что он бывал в Сингапуре?.. Здесь ему не Сингапур! Хватит ему своевольничать! Пусть садится в кувшин и там командует... Немедленно притащим его на площадь, и пусть он держит ответ перед тобой, Джанико!.. Ну как?!

Джанико молчал.

Миха отправил несколько крестьян за Савле, а сам продолжил разговор с разбойником:

— Никто не останется безнаказанным, Джанико!.. Кто хоть когда-то обидел тебя, будет наказан!.. Только не бросай камни! Я сам всех засажу в кувшин!.. Я немедленно составлю список тех, кого следует наказывать!..

Миха приказал вынести из лавки стол со стулом, сел, собрав вокруг себя старейшин деревни. Кто-то положил на стол гусиное перо и бумагу. Миха взял перо, тщательно разгладил рукой бумагу и только

тогда вспомнил, что не умеет писать... Сельчане  стали совещаться.

Отправленные за Савле крестьяне подошли к дому старосты. Ворота были открыты. Они окликнули хозяина, но им никто не ответил. Тогда они тщательно осмотрели каждый уголок двора и дома. Савле и его дочери как не бывало. Во дворе в кувшине сидел Шакро, ел мчади, запивая его вином. Бывший заместитель старосты не знал, где его хозяин. Крестьяне еще раз обошли подворье и ни с чем возвратились на площадь.

Судили да рядили недолго. Виновных определили, привязали одного к другому и, словно баранов, погна-ли к дому Савле. Для девяти виновных необходимо было девять больших кувшинов, а такое количество огромных кувшинов могло оказаться только у Савле...

Сельчане чуть не разнесли ворота бывшего старосты, с шумом влетели в марани, площадью в свадебный зал. Одну из стен украшали роги и другие сосуды для питья. Деревянными лопатами соскребли глину и заглянули в квеври. Все большие кувшины были полны до краев. Восемь осужденных во дворе ждали своей участи. Крестьяне всерьез задумались. Миха снял со стены черпак, зачерпнул вина и не переводя дыхания выпил. У Савле всегда было отменное вино. Миха щелкнул языком и снова зачерпнул. Его примеру последовали другие. Увешанная сосуда-ми стена мгновенно оголилась.

На осушение девяти огромных квеври потребовалось двадцать дней и ночей. Пили все — даже приговоренные к заточению, и Шакро, который продолжал сидеть в кувшине. Захмелевшие крестьяне падали с ног — и в доме Савле, в марани, в хлеву, в кукурузнике — всюду можно было наткнуться на пьяных. Самого Савле нигде не было. Исчезла и красавица Цируния.

Наконец вино иссякло. Решено было вынести пустые квеври во двор, но первый же вырытый из земли кувшин не пролез в двери. И тогда, недолго думая, сельчане посадили осужденных в непромытые кувшины, лишь один остался пустым — он дожидался бывшего старосту.

— Ничего, воздастся им, — говорил Савле Цирунии, разглядывая деревню в подозорную трубу. — Не пройдет даром пьянчугам мой позор. За два гривеника продал меня этот урод-мясник!.. Вообще-то что с них возьмешь, глупцов, склоняются туда, куда дует ветер... Слушайся всегда своего отца, дочка!.. Савле-то загодя знает, куда подует ветер, знает, потому и оставляет всех с носом, — Савле ухмыльнулся и победителем посмотрел на дочь. — Будь я глуп, как остальные, сидел бы я сейчас в собственном кувшине или же был бы тестем какого-нибудь болвана вроде Миха, — Савле нацелил подозорную трубу на стоящего у лавки на рыночной площади Миха и ядовито прошипел: — Ну что, остался с носом, верзила!..

Стояло серое и тихое мартовское утро.

Савле и Цируния сидели в лесу перед шалашом и сверху смотрели на деревню. Измученная блужданием по лесу Цируния не скрывала злости. Выросшая в достатке и ласке, она не могла простить отцу своего унижения. Цируния даже потеряла обычную привлекательность, и некогда влажные глаза ее потускнели. Савле же был бодр, словно юноша, постоянно подбадривал дочь и с утра до вечера разглядывал деревню в подозорную трубу. В тишине ночи до леса отчетливо долетали голоса крестьян, и отец с дочерью знали обо всем, что происходило в деревне.

— Не печалься, Цируния, — увещевал Савле. — Месяц ты ведь терпела?! Потерпи еще столько же, дочка, а потом мы заживем с тобой еще лучше... Джанико не такой глупец, как другие! Я это понял... Остался месяц, и он преподнесет деревне очередной камень... Он это делает точно и расчетливо... Видать, любит порядок... Покатит камень, мы спустимся в деревню, вот тогда и поговорим. — Савле приложил подозорную трубу к глазу и обозрел деревню.

По проулку, опустив голову, медленно шли женщины с сумками в руках.

— Гляди, несут заключенным мчади с сыром, — сказал Савле и передал дочери подозорную трубу.

Женщины вошли во двор Савле.

— Надо же, как у себя дома разгуливают!.. — раз-

гневался Савле. — Эти наглецы думают, что находятся на рыночной площади... Испоганили двор, за которым я ухаживал, как за собственным ребенком... Я им не прощу этого! Как мне наполнить эти огромные кувшины? — Савле вдруг вспомнил, как пировали крестьяне, и лицо у него перекосилось. — Десять лет я берег вино, эти пьяницы выдули его за двадцать дней!.. Двадцать лет заставляю работать даром, олухи!.. Сто кувшинов заставляю наполнить, а потом сяду и буду кутить каждый день... Сто лет буду кутить... — лютовал Савле.

Крестьянин, которого поставили сторожить узников, снял замок с марани Савле и впустил туда женщин.

— Шакро высунул голову из кувшина и что-то говорит, — отметила Цируния.

Заросшая бородой голова Шакро была хорошо видна в подзорную трубу: в отличие от остальных, он по-прежнему сидел в кувшине посреди двора.

— Наверное, есть хочет, — пробурчал Савле. — У этого осла ведь нет близких... Во всем он виноват, болван! — внезапно разгневался Савле. — Я бы пожалел для него даже кусок хлеба!

Сторож вошел в марани и вскоре вновь появился с едой и небольшим кувшином. Шакро тотчас исчез в кевври.

— Вам в самый раз сидеть в кевври, — кипятился Савле. — Ты, пастух!.. И ты, парикмахер Табо!.. А Шакро я дарю эту обитель на всю жизнь! — Он захихикал.

Цируния некоторое время продолжала разглядывать свой двор, а потом осторожно направила подзорную трубу на гору.

Воздух был холодный и неподвижный. Неподвижно висел и покрывший расположенное за рекой поле зыбкий туман, опустившийся с однообразного унылого серого неба. Из оцепеневшего леса на деревню лилась тишина. У лавки стояли несколько крестьян. Они не спускали глаз с горы. Там же стоял мясник Миха. В проулках кое-где появились идущие к рыночной площади сельчане.

— Ты думаешь, он специально целился камнем в

нашего мула, Цируния? — спросил Савле с тревогой в голосе.

Цируния продолжала прочесывать лес подзорной трубой.

— Не думаю, — пришел к заключению Савле. — Если бы Джанико имел что-нибудь против меня, он бы сразу разнес мой дом... Соседи уверяют, что он целился специально... Выдумывают они все... Уверен, это проделки мясника. Небось возмечтал старостой стать!..

Савле вдруг стало не по себе, и он для бодрости навесил на себя винтовку и саблю. Потом опоясался поясом с кинжалом и, несколько успокоившись, направил взор на деревню.

Из марани вышли женщины и обступили сторожа. На берегу реки вороны клевали труп собаки. Над ущельем парил коршун. Бывшая жена Джанико стояла на балконе нового дома и пальцем пересчитывала домашнюю птицу.

Цируния отвела подзорную трубу от горы, сердито посмотрела на вооруженного Савле и молча вошла в шалаш.

— Вот бы и мне покатить камень, — мечтательно произнес Савле. — Лавку мясника я бы с удовольствием...

Бывший староста не успел выразить свое желание — грозный грохот прервал его.

На месяц раньше срока по выжженному склону горы Джанико с грохотом катился огромный валун.

Перед взором Савле застывшими картинками промелькнули сценки: крестьяне на площади; жена Джанико с протянутой рукой; лежащий на поле неподвижный туман и, словно подвешенный к небесному куполу, коршун с раскрытыми крыльями.

Круглый валун докатился до рыночной площади и упал на чей-то дом. Глухой треск разорвал оцепеневшее пространство. Дом с проломанной крышей накренился, точно у него подкосились колени. Валун проломил стену, втоптал в землю плетеный забор и покатился в сторону реки.



— Здравствуй, Джанико!.. Как поживаешь, дорогой! — донеслось до слуха собравшихся на площади крестьян.

Сельчане повернулись в сторону темного проулка. По нему бодро шагал обвешанный оружием Савле, издали приветствуя невидимого разбойника. Среди крестьян пронесся легкий шепот. Савле окинул их недобрый взглядом, подошел к горе, снял с себя оружие, бросил на землю и посмотрел наверх — на вершину горы.

— Здравствуй еще раз, дорогой Джанико! — крикнул он. — Я к тебе по делу... Зазря не стал бы беспокоить. Много грехов взял я на себя по недомыслию... Ты вправе повесить меня за ноги за мои преступления... Да, я направил пушку на эту гору, я оскорблял тебя, разрушил твой дом, выдал замуж твою жену. Но теперь я пришел к тебе с покаянием, жажду замолить грехи свои... Делай со мной все, что тебе вздумается... Хочешь, покати камень... Я буду стоять под горой у опаленного склона, и пусть камень разможжит мне голову, пусть!.. Твоя бывшая жена годится разве лишь на то, чтобы использовать ее как палку для сбивания орехов с дерева. Ни кожи, ни рожи. Однажды она ковыляла по проселочной дороге, я увидел ее сзади и решил, что кто-то тащит чучело для огорода... Видать, знал ты, с кем имеешь дело, и избавился от нее... Ты умен и поступил очень разумно... Неужто принесешь меня, старого человека, в жертву ради этой женщины с выцветшими рыбьими глазами?! Ты не сделаешь этого, ведь ты умный! Ты не сможешь убить собственными руками своего тестя! — Здесь Савле сделал значительную паузу, гордо окинул взглядом крестьян, а затем вновь повернулся к горе: — Ты понял, что я сказал, Джанико?.. Я хотел бы с тобой породниться!.. Красавица Цируния тает на глазах от любви к тебе... Ничего не ест и не пьет, бедняжка... Тебе не жаль ее? Спустись и защити нашу красавицу. Измучились мы, вконец доконали нас сельчане, и дом отняли, и вино выпили, которое я приберег для вашей свадьбы. В лес мы подались из-за этих нечестивцев, нет уже места в дере-

вне твоей невесте и тестю. Спустишь, защити нас, Джанико! Как только скажу тебе все, отведу Цирунию в твой дом... Пусть сидит и дожидается своего героя-мужа...

Савле кончил говорить, вновь нацепил на себя оружие, молча прошел мимо оцепеневших сельчан и скрылся в проулке.

Бывшая жена Джанико в тот же вечер возвратилась в дом своего отца. Поселившись в новом доме, Цируния стала привычно хозяйничать в просторных комнатах, Савле же купил колыбель, сшил дочери свадебное платье из легкой, словно туман, ткани и заказал местному портному дорогую чоху для зятя.

Бывший хозяин деревни был восстановлен в прежних правах. Освободили заключенных, отмыли кувшины и вновь заполнили их вином. На доме Савле тотчас сказалося возвращение проворных и расторопных работников: подмели двор, починили ворота и надраили полы. Самое видное подворье в деревне приобрело былую красоту.

Люди с нетерпением ждали возвращения Джанико. Ждал и Шакро, который все еще сидел в кувшине посреди двора и беспробудно пил.

А Джанико все не появлялся.

Притихший и встревоженный Миха редко выходил из своей лавки. Не смели появляться на рыночной площади и те, кто ругали и поносили Савле. Староста гордо расхаживал по деревне и грозился воздать должное каждому.

По-прежнему блистала красотой Цируния. Павой прохаживалась она по рыночной площади и украдкой поглядывала на гору горящими черным блеском глазами. Деревенские парни не могли скрыть своей зависти — и такая красавица должна достаться разбойнику?!

...Прошла неделя с той поры, как в последний раз покотился с горы валун, как вдруг рано поутру по выжженному склону по направлению к деревне вновь устремился огромной величины камень. Докатившись до кучи песка у ямы на рыночной площади, камень отвалил в сторону, вдавил парикмахерскую в лавку мясника, затем медленно покотился по проулку, свер-

нул к поместью Савле и остановился посреди двора точно у самого кувшина.

Спящего Шакро разбудило подрагивание земли. С похмелья ему показалось, что еще ночь, и он спокойно заснул.

В полдень, когда взбудораженные сельчане молча стояли во дворе Савле и разглядывали камень, по деревне вновь покатился посланный с горы валун.

Мужчины не стали долго ждать, быстро взвалили на плечи свои пожитки, погнались впереди себя домочадцев и бегом направились на противоположный берег реки.

С наступлением ночи по склону горы Джанико покатился еще один камень. С противоположного берега крестьяне смотрели на погруженную в ночь деревню и слушали, как громил невидимый валун опустевшие дома. До самого утра они не сомкнули глаз.

На следующий день с самого рассвета с горы катились огромные круглые камни, и к вечеру расположенная на склоне уютная деревня стала походить на многократно перечерченную жирным карандашом карту.

На берегу реки в третий раз собрались отчаявшиеся крестьяне. После долгих споров они послали для переговоров с разбойником Савле и Миха.

— Мы дарим тебе, Джанико, деревню, — проговорил, обращаясь к горе, староста. — Поступай с ней, как знаешь, братец, а мы станем жить на том берегу в шалашах... Если ты предпочитаешь жить один в деревне, живи себе на здоровье!.. У тебя есть новый дом, а еду мы будем носить, не беспокойся. Захочешь когда-нибудь помириться с нами, — хорошо, не пожелаешь — будет так, как прикажешь!..

— Спустись, тебя ждет красавица Цируния... — подключился мясник.

Стсящие цепочкой по берегу реки крестьяне неотрывно глядели на вершину горы и вслушивались в пронизанные мольбой голоса своих посланцев. Савле с грустью глядел сверху на свое обширное поместье, на разрушенные дома и на собравшихся на противоположном берегу людей. Миха собрался было крик-

нуть еще что-то важное, но в это время гора разбойника внезапно прогремела:

— На кой черт мне ваша деревня!

Савле точно громом поразило. Тошная ^{пещера} его провалилась в узкие плечи. Застыл на месте и охваченный страхом мясник. Замерли сельчане. Во внезапно нависшей тишине сотни глаз устремились в сторону ожившей горы. Где-то каркнула ворона... Где-то нехотя залаяла собака...

— Не нужна мне ваша деревня! Ничего мне больше не надо! — вторично раздался с горы зычный голос, и возвышающаяся над деревней кривой стеной гора вновь затихла.

Несколько дней потрясенные крестьяне не решались возвращаться домой, с утра до вечера слонялись по полю и со страхом ждали, когда скатится очередной валун. Но прошло время, гора безмолвствовала, и воспрявшие духом крестьяне неожиданно осознали, что в деревню возвращаются привычные мир и покой...

* * *

Обрела покой уставшая от постоянного страха деревня. Покалеченные дома и снесенные ограды через пару месяцев были восстановлены. К весне и новый мост соединил два берега мутной реки. Стерлись следы от зловещих камней, и жизнь деревни вошла в привычную колею. Благодать воцарилась среди узких проулков, в тщательно выметенных дворах и в уютных домах.

Радостно встретили сельчане появление в деревне тяжелых фургонов. Горожане привезли огромное количество товаров и целую неделю на рыночной площади шла оживленная торговля. По-новому, с необычайным удовольствием собирались крестьяне на устраиваемые на рыночной площади при свете луны представления. Потом приезжие прощались с крестьянами до следующей весны.

Некоронованный правитель деревни пристрастился к работе в своем саду, не поднимался на рыночную площадь для бесед с крестьянами и постепенно

авторитетом стал пользоваться мясник Миха. За ним везде и всюду ходил по пятам верзила Шакро. В те дни, в начале событий, Шакро чудом спасся от гибели. Забытый всеми, он мог задохнуться, если бы не мясник, который сообразил вовремя откатить огромный камень, нависший над кувшином.

Пастух вновь погнал скотину на пастбища. По-прежнему дремал на пороге парикмахерской Габо в ожидании обросших клиентов. В отстроенном для разбойника доме поселились бывшая жена Джанико и хромой Датиго. Отвергнутая невеста Цируния поблекла буквально на глазах.

Шло время. Покрывший все обозримое пространство белый снег словно отразил однообразное и безрадостное течение жизни деревни. Изнывающие от безделья крестьяне шныряли по теплым комнатам, частенько напивались, и тогда их почему-то тянуло на рыночную площадь. Нет-нет, да и останавливался как вкопанный у парикмахерской какой-нибудь подвыпивший крестьянин и долго глядел помутневшими глазами на высокую гору.

Однажды среди зимы Габо пришел в гости к Миха. За долгой беседой они и не заметили, как напились. Окончательно потерявший рассудок Миха схватил топор и безжалостно разнес свою лавку. Не остался от своего собутыльника и Габо, и вскоре парикмахерская была повержена в снег. Этого им показалось мало, и тогда они поплелись на площадь.

— Здравствуй, Джанико!.. — хриплым голосом крикнул Миха, уставившись на гору. — Как поживаешь, братец?

— Слушай, Джанико, нам так хочется поговорить с тобой, — крикнул Габо.

Гора молчала.

Хмельные односельчане еще некоторое время окликали разбойника, стоя посреди рыночной площади, потом, обнявшись, невпопад подпевая друг другу, допоздна разгуливали по безлюдной деревне.

Крестьяне сидели у своих очагов. До их слуха доносились нестройные голоса парикмахера и мясника. С глухой неприязнью слушали они подвыпивших односельчан, попивали вино небольшими стака-

нами, и с какой-то смутной болью чувствовали, что они уже никогда не смогут примириться со своим скучным и безрадостным существованием. До наступления весны, когда жизнь скрашивалась приезжими, их взбудораженные сердца жаждали чего-то живительного...

А пока время от времени деревня лениво потягивалась...

По опустевшей рыночной площади за плешивой сукой молча бежала свора взмыленных разношерстных кобелей.

Перевод В. РОБАКИДЗЕ



Из цикла „Высокие горы Грузии“

- 1 А мне пройти все эти горы —
 Нужно два шага.
 В начале первого пути
 Всего лишь два шага.
 И чтоб достать одной рукою
 Эти облака —
 Шаг для начала, шаг в конце —
 Всего лишь два шага.
- 2 Из жара хлеб рожден
 мы этот жар забыли
 и руки забывают постепенно
 как дед мой делал глиняный кувшин
 забыла память как делают вино
 кувшин держу в руке в нем голос
 моего народа
 в звонкой глине память сохранилась
 и под ноги себе не смотрим
 в этом доме живем
 этот хлеб едим
 из кувшина пьем
 и не задумываемся откуда
 в нашем горле эти слова
 и руки наши не создавая ничего все
забывают
- 3 В своих ладонях несу что-то
 нежное, еле осязаемое.
 Как будто теплоту козьего молока,
 как будто плеск ручья несу или
 аромат полевого цветка.
 Несу и боюсь, что прольется,
 так иду осторожно по жизни.
 Под ноги не смотрю и вперед тоже.
 Так иду сквозь толпу большого города,
 ежедневную усталость.



Реваз ДЖАПАРИДЗЕ

ХРАНИ НАС, БОЖЕ, ОТ ТАКИХ „ОХРАНИТЕЛЕЙ“!

Уважаемый редактор!

Возможно, многие не знают (и это не удивительно, ибо до недавних пор не знал и я), что в Тбилиси выходит малоформатная газета «Картули азри» — «Грузинская мысль», в которой место предоставляется любой правдивой или лживой информации, касающейся нашего сегодняшнего руководства, и в первую очередь Председателя Государственного совета Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Как я слышал по телевидению, редакция и авторский коллектив называют свою газету нелегальной, — будто она печатается, как ленинская «Искра», где-то в Женеве и с риском для жизни завозится в страну опытными конспираторами.

В действительности же дело обстоит намного проще: газета печатается в Тбилиси и продается на каждом углу. И если бы власти пожелали запретить издание и распространение этой газеты, не было бы ничего проще, но, видимо, существуют более важные дела, нежели преследование лживого, полного ненависти и клеветы «листка», и, пользуясь этим, творцы «Картули азри» чувствуют себя вольготно.

Приведу в пример номер газеты от 12 мая, который дает много поводов к разговору, но у меня нет ни времени, ни желания определять, насколько отвечают эти материалы элементарным этическим нормам, коснусь лишь одного эпизода из статьи «Миф и действительность», публикуемой в нескольких номерах.

Речь идет о VIII съезде писателей Грузии, состоявшемся в 1976 году, а общественная жизнь того времени охарактеризована с учетом моего выступления (см. Реваз Джапаридзе — «Проливной дождь», сборник публицистических статей, изд-во «Сабчота Сакартвело», 1991 г., с. 163) на этом съезде.

В статье, под которой стоит подпись «Охранитель», читаем: «Вспомним 1976 год... В номере «Учительской газеты» от 10 января упомянутого года тогдашний министр просвещения Грузии, известный функционер Т. Лашкарашвили писала: «Интересная работа проводится в средней школе-интернате г. Зугдиди. Уроки истории, географии и физкультуры, начиная с пятого класса, ведутся на русском языке». Далее автор пишет об эффективных и наилучших способах изучения русского языка в школах.

В «Социалистических обязательствах Тбилисского государственного университета на 1976 год», опубликованных в газете «Тбилисис университети» от 6 февраля, написано: «Изучение ряда предметов будет осуществляться на русском языке, для чего предусмотрено приглашение ведущих русских специалистов».

Был опубликован еще ряд аналогичных статей... Именно этот возмутительный план русификации грузинского народа вызвал резкие выступления писателей Нодара Цулейскири и Реваза Джапаридзе на съезде писателей в апреле упомянутого года».

Далее автор вспоминает пленум Тбилисской партийной организации, прошедший в том же году, и приводит слова Т. Ментешашвили, уличающие его: «В пору всеобщего расцвета абсолютно непонятно и возмутительно поведение некоторых товарищей, которые стараются превратить второстепенные вопросы в большую проблему».

...Другой известный партийный функционер Г. Енукидзе заявил на этом же пленуме: «Прискорбно, что эти люди прячутся за маской защитников национальных интересов, подрывая основы самого святого для нас — интернациональной дружбы и братства народов».

«Примечательно и то, — пишет далее наш новый «охранитель», — что ни одна республиканская газета ни слова не напечатала о том, что произошло на VIII съезде и по какой причине на некоторых делегатов обрушился гнев партийного руководства республики».

Как видим, дело оказалось нешуточное. Если прибавить к этому, что зал заседаний Верховного Совета Грузии, который до своего трагического разрушения и сожжения в январе 1992 г. вмещал более тысячи человек, был переполнен, если вспомнить, что наряду с бюро Центрального Комитета партии республики на съезде присутствовали заведующий отделом культуры Центрального Комитета КПСС Шауро, делегации пи-

сательских организаций республик, иностранные гости и корпус журналистов, придавших съезду грузинских писателей международную огласку, мы приблизительно сумеем представить себе характер и масштаб происшедших там баталий.

Можно ли поверить нашему «охранителю» в том, что этот съезд действительно прошел бесследно? Достоверны ли его исторические изыскания и должны ли будущие поколения знать, что и как происходило, полагаясь лишь на его добросовестность? Я, например, знаю, что ряд европейских и американских газет, в том числе французская «Монд» и американская «Крисчен сайенс монитор», посвятили съезду пространные и исчерпывающие отчеты. Кроме того, одной из главных тем зарубежных «голосов» на протяжении пяти лет являлся анализ событий, имевших место на форуме грузинских писателей.

А что же грузинская пресса? Где была она, «ни слова не сказавшая о том, что произошло на VIII съезде писателей»?

Вооружимся терпением и раскроем газету «Комунисти» от 25 августа 1976 года, в которой напечатан отчет партийного актива республики.

Черным по белому там написано: «Выступившие с возмущением говорили о демагогическом выпаде Реваза Джапаридзе на VIII съезде писателей, искажившего отдельные факты и сетовавшего на империалистическое влияние, оказывающее давление на грузинский язык и другие национальные институты, о том выпаде, который с сочувствием был встречен случайно попавшей в зал частью публики. Нездоровый характер этого выпада сказался и в том, что, ратуя якобы за защиту грузинского языка, охваченные пылкими эмоциями, они фактически не дали возможность выступить одному из лучших педагогов грузинского языка, поднявшему на съезде вопрос совершенствования преподавания грузинского языка и литературы в школах республики. Видимо, есть какая-то закономерность в том, что проповедниками национальной ограниченности и замкнутости выступают, как правило, имеющие низкий уровень культуры и знаний неграмотные люди, не видящие или не желающие видеть, каким грандиозным темпом развивается социалистическая по содержанию, интернациональная по характеру и национальная по форме грузинская советская культура. Они совершенно не понимают, что продолжение мудрой ленинской национальной политики, обеспечивающей настоящий расцвет каждого народа — единственно верное решение национального вопроса в нашей стране...

В центре внимания участников совещания были вопросы дальнейшего развития критики и самокритики. В передовице газеты «Правда» было сказано, подчеркивали ораторы, что «опыт парторганизации Грузии в первую очередь свидетельствует, сколь полезен критический подход к собственным делам».

Где же здесь упоминается Нодар Цулейскири? Судя по статье нашего «охранителя», первым высказал свое возмущение Цулейскири, а затем уж автор этих строк, который не прятался в кустах, и в отличие от «охранителя», не прикрывался псевдонимом, дабы избежать неприятностей, а поднялся на трибуну съезда с открытым забралом, бросив на весы собственное благополучие. Этого требовали жизненные интересы грузинского народа и определенная Господом обязанность каждого гражданина и истинного патриота.

Может быть, кто-нибудь думает, что я не знаю, из-под чьего «золотого пера» вышла вышеприведенная постыдная цитата, может быть, думает, что я не догадываюсь, кем выставили меня Гурам Енукидзе, Тенгиз Ментешашвили и иже с ними. Знаю, прекрасно все знаю, хватает мне и догадливости, но что поделаешь, если у меня не возникает и мысли отплатить, ответить злом на зло, да и что это даст? Прибавит ли что-нибудь Грузии, нашему общему отечеству моя личная месть?

А что движет «охранителем»? Зачем ему понадобилось приписывать Нодару Цулейскири выступление, которого и в помине не было, свидетели чему, не считая представителей мировой прессы, наши соотечественники? Цель, видимо, одна: уверить простодушного читателя, что от начала и до конца во главе национально-освободительного движения стояли мы — «круглые», а если он не поверит, то пусть обратится к выступлению Нодара Цулейскири.

Я удивляюсь самому Цулейскири: почему он молчит? Почему не скажет: вы, мол, ошибаетесь, мои дорогие, не было этого, не приписывайте мне того, чего я не делал.

Остается лишь удивляться, что подобная дипломатическая глухота проявляется у него не впервые.

«Охранитель», несомненно, заметил, что первую его цитату я оборвал в неподходящем месте. Возможно, он подумал, что попал в самую точку. Имею в виду то место, где автор говорит о выступлениях Цулейскири и Джапаридзе. Там же в скобках отмечено: «Здесь же хочется напомнить Ревазу Джапаридзе, который претерпел за последние семнадцать

лет столь большую метаморфозу, прошлые времена». Что именно хочет напомнить мне автор? Что имеет в виду под «прошлыми временами»? Вопрос задан, необходим и ответ. Нет желаемого ответа? Тогда к чему же риторические вопросы? Слава Богу, я так прожил свои 69 лет, что никогда не давал повода ни врагам, ни друзьям что-то «напомянуть» мне или упрекать в чем-то, если же кто-то считает, что это не так, я требую представить мне доказательства!

«Метаморфоза» — греческое слово и означает изменение, превращение. Поскольку «охранитель» использует это слово в отрицательном смысле, усиливая его словосочетанием «столь большую», надо полагать, что изменения со мной произошли ужасные, другими словами, Реваз Джапаридзе повернулся в своих взглядах на 180 градусов и, если 17 лет назад он не пожалел бы ради защиты национального достоинства ни своей жизни, ни писательской карьеры, то сегодня он ополчился против жизненных интересов народа, против родного языка, переметнулся в лагерь заклятых врагов отечества!

Вот что утверждает наш новый «охранитель», вот, оказывается, какова «Картули азри»! Если бы прикрывшийся псевдонимом автор мало-мальски разбирался в исторических фактах и обладал хотя бы минимальной способностью к анализу, то не растерялся бы настолько, чтоб, уподобившись тбилисскому кинто, начать искать потерянную в полночь в Авлабаре иголку на Ереванской площади, освещаемой газовыми фонарями, дескать, там темно, а тут светло.

После вышеупомянутого VIII съезда состоялось заседание президиума, где всем его членам было предложено осудить мое выступление и высказанные в нем положения.

Мог ли президиум, состоящий из известных и любимых всем народом писателей, в условиях жесткого тоталитарного режима защитить ту истину, с которой я выступил на съезде? Не мог, поскольку это вызвало бы всесоюзный скандал, подняло бы против Грузии весь карательный аппарат советской империи, которая еще в шестидесятые годы грозила нам переселением за Урал.

Этот скандал принял бы совершенно другую, более значительную окраску, если бы политическую позицию оратора на съезде писателей разделило официальное руководство Грузии и лично первый секретарь Центрального Комитета.

Неужели трудно понять такую простую истину?

Поэтому, дорогие мои читатели, и ты, мой обличитель, у меня хватает ума не считать моим недругом и недоброжелателем.

телем ни одного своего коллегу, члена президиума Союза писателей, присутствовавших на том памятном заседании и вынужденных осудить мое выступление, и как раз поэтому я никогда не считал Эдуарда Шеварднадзе, с которым столкнулся на том съезде, своим личным врагом.

Понятно, что произошли этот случай раньше, для меня он закончился бы трагически, но если бы меня подняли из могилы и снова спросили мое мнение, я ответил бы точно так же.

В конце семидесятых годов было предпринято еще одно наступление на грузинский язык. Из Москвы пришла обязательная директива, извещающая, что один из основных предметов во всех грузинских высших и специальных учебных заведениях должен изучаться на русском языке. Словом, как в цитированной выше корреспонденции г-жи Тамар Лашкарашвили.

Меня посетил профессор университета Георгий Харатишвили, с которым до того я не был знаком лично и который известил меня об этом тревожном событии. Дело дошло до того, что ученые советы спешно выбирали предмет, который отныне должен был изучаться на языке великого русского народа. В тот же день ко мне пришла большая группа студентов из ряда высших учебных заведений, которые рассказали мне о том же и поделились своим решением устроить в знак протеста демонстрацию.

Надвигалось новое испытание. Может быть, даже более тяжелое, чем то, которое пришлось пережить нашему народу в 1956 году. Без крови не обошлось бы.

Я по-отечески попросил молодежь подождать хотя бы три дня и ничего пока не предпринимать.

На следующий день состоялась встреча большой группы грузинской интеллигенции с руководителем республики Эдуардом Шеварднадзе. Состав этой группы мы определили вместе с профессором Гурамом Мамулиа, и мы же взяли на себя организацию встречи.

Что произошло дальше, рассказывается мной в статье «Сожжем книги или прочтем их», опубликованной в газете «Комунисти» 1 апреля 1990 года. Обратимся к статье:

«Я... вкратце рассказал об известии, полученном от студентов университета и политехнического института, охарактеризовал политический смысл постановления и его стратегическую направленность. По вполне понятной причине я не упомянул профессора Георгия Харатишвили, а заострил внимание присутствовавших на том, что ожидалась студенческая

демонстрация протеста и состоится она или нет, зависит от того, с каким ответом я выйду из этого кабинета. Студенты ожидали моего ответа.

Я не старался смягчить свои высказывания, не придумал им более приемлемую для руководства форму. Напротив, излагал свои мысли как можно резче и непримиримее. Ожидаемое выступление студентов, ни разу не имевшее места в Тбилиси после массового расстрела в 1956 году демонстрантов, я назвал «неизбежным взрывом», откровенно признался, что обещал студентам встать вместе с ними в первых рядах. Я не успокоился и на этом, призывая пойти и встать рядом со мною первого секретаря, поскольку для разгона демонстрации непременно было бы использовано оружие. У нас не было другого выхода, мы не могли пустить наших детей одних навстречу пулям и зверству карательных отрядов...

Среди присутствующих воцарилось тяжелое молчание. Никто не знал, чем закончится вся эта история, к какому решению придет, выслушав все это, руководитель республики. Пока я говорил, он не прерывал меня, терпеливо слушал, хотя я много раз позволил себе недозволенные высказывания и назвал документ, подписанный членом Политбюро, Председателем Совета Министров СССР антиленинской, антикоммунистической, антисоветской галиматьей...

В ответном слове Эдуард Шеварднадзе выступил со сдержанным негодованием и сразу же отметил, что полностью разделяет наше возмущение по поводу упомянутого документа и подобного политического давления на учебный процесс. В заключение Эдуард Шеварднадзе попросил три-четыре дня для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения, что с удовлетворением было встречено присутствующими представителями интеллигенции.

«Не желает ли кто еще выступить по этому поводу?»

Оказывается, чаша терпения переполнилась... Реакция была потрясающей. Выступили Мариам Лорткипанидзе, Мзекала Шанидзе... Их поддержали академики Георгий Меликишвили, Вахтанг Беридзе, профессор Александр Джавахишвили...

Не прошло и недели, как Москва затребовала обратно из всех союзных столиц, в том числе из Тбилиси, свое преступное постановление, состряпанное «политическим гением» идеолога империи Суслова. К счастью, обошлось без студенческих выступлений и кровь грузинской молодежи не пролилась.



Digitized by Google

С чьей же помощью, благодаря чьей личной самоотверженности был разрешен этот вопрос, столь значимый для наших потомков? Неужели стыдно признать этот факт, честно рассказать о том, что же произошло в действительности? К чему должны мы прислушаться, чему поверить, на чем основать свои представления: на фактах, жизненной правде или на том, кто кого любит и кто кому не мил?

Третье наступление на грузинский язык было предпринято Москвой в 1978 году во время обсуждения проекта Конституции, в котором грузинский язык лишился статуса государственного языка и ему отводилось место на кухне. Восстала вся Грузия. В Союзе писателей, возглавляемом в то время Григолом Абашидзе, три дня подряд проходили многолюдные заседания, на которых обсуждались планы такого противостояния империалистической Москве, которое не вызвало бы кровопролития.

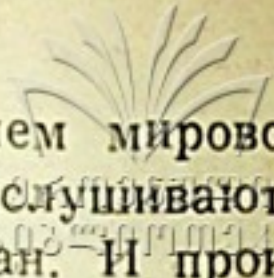
На третий день обсуждение продолжалось в кабинете Первого секретаря Центрального Комитета и шло почти шесть часов, где и было принято окончательное решение. Против насилия Кремля от имени всего грузинского народа выступил Эдуард Шеварднадзе, не мы все вместе, а он один!

Сегодня каждый знает, чем закончилось это противостояние и на чьи плечи легла его основная тяжесть.

Интересно, какую же метаморфозу претерпел Реваз Джапаридзе, перебежавший в лагерь врагов, кому продал интересы своего народа и отечества? В чем выразилась перемена его мировоззрения на 180 градусов? Неужели не совестно клеветать перед всем народом на пожилого человека, стоящего одной ногой в могиле, не приведя ни одного достоверного и убедительного документа?

В строгой статье «Одна мать, одно отечество, одна могила», которую я посвятил одному из интервью с Эдуардом Шеварднадзе, напечатанной в газете «Сакартвелос республика» от 16 мая 1991 года, я, между прочим, писал: «Я не знаю ни одного здравомыслящего грузина, который бы на протяжении всех этих лет с замиранием сердца не следил за каждым шагом Эдуарда Шеварднадзе, и несмотря на личные политические взгляды и пристрастия, не гордился в душе тем, что он — «нашего роду-племени»!

Все это исторический факт, ветряная мельница, крылья которой уже давно пытались отломать самое реакционное, фашиствующее крыло Съезда народных депутатов Советского Союза. Для них ничего не значит, что в лице Эдуарда Шевард-



надзе они имеют дело с государственным деятелем мирового масштаба, с политиком, ко мнению которого прислушиваются короли, президенты и премьер-министры всех стран. И происходит это не потому, что он еще вчера находился у штурвала огромной сверхдержавы, но и потому, что он — Эдуард Шеварднадзе, сын своего народа, — выдающаяся личность.

...Я — преданный ему человек, отношусь к числу его доброжелателей и могу лишь пожелать, чтобы он с такой же компетентностью и чувством ответственности, с какими решает важные мировые проблемы, взялся служить жизненным интересам своей несчастной и измученной родины».

Эти строки писались и были напечатаны тогда, когда имя Эдуарда Шеварднадзе, окруженное ореолом славы, было превращено одной частью грузинской прессы в мишень, поливаемую грязью, хотя затаенная мечта, которую я вынес на страницы газеты, была в сердце каждого патриотически настроенного грузина.

Мечта сбылась, Бог смилостивился над нами и послал нашему народу достойного лидера, который не колеблясь отказался от беспечной жизни и взялся за тяжелое и неблагодарное дело — поднять на ноги голодное, разоренное и со всех сторон оскорбляемое отечество!

Я спрашиваю у «властителей дум» т. н. «Грузинской мысли» и их корреспондента «охранителя», где, по их мнению, должен находиться Реваз Джапаридзе в такой момент: вместе с народом, вставшим во имя благополучия своей страны рядом с государственным деятелем, засучившим рукава, дабы выволить свой народ из катастрофического положения, или рядом с теми, кто взрывает школы, мосты, линии электропередач, кто призывает родной народ к повальному безделью и, угрожая оружием, заставляет его бездействовать, кто раздувает этноконфликты, сеет семена неслыханной доселе вражды в разных регионах Грузии, кто грабит и истязает свой же народ, тем самым сбрекая свою страну на исчезновение с лица земли?!

Мевеле — древнегрузинское слово и значит «страж», «сторож», а точнее — человек образцовой честности и порядочности, избираемый всем селом для охраны еще не собранного в полях и виноградниках урожая от зверя, злого глаза и недобрых рук, человек, охраняющий общественное достояние и таким образом служащий своей стране.

А как охраняет и оберегает свое отечество, его духовные и материальные ценности наш «охранитель», сотрудничающий

в «Грузинской мысли» и мнящий себя бескорыстным глашатаям истины, мы имели возможность убедиться выше.

Что еще можно добавить к сказанному? Лишь мольбу к Всевышнему: «Храни нас, Боже, от такого «охранителя»!

Я высказал все, что думаю и что говорил уже не раз, и пусть же все, кому не лень, угрожают мне, ругают последними словами, разумеется, анонимно, оскорбляют, как им заблагорассудится, пусть пишут пасквилы и распространяют их. Бог видит все!

История безошибочно определит, кто и какую метаморфозу претерпел, кто был в эту тяжелейшую в истории народа пору врагом, а кто благожелателем своего Отечества!



Джанри КАШИА

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЧОН ТАШ

(РАЗДУМЬЯ ПО ПРОЧТЕНИИ «ВРЕМЕНИ И МИГА»
ВАЖИ ГИГАШВИЛИ)

Возможно, повлияло и то, что в юности мы оба носили тяжелые высокие ботинки, а Важа, по-моему, — даже лыжные... И по асфальту, и по горам, и в каком-то «неасфальтовом пространстве» бродили мы сами по себе...

Был у меня и страх. Вызванный моей безграничной к нему симпатией. В этой симпатии всегда было и уважение младшего поколения к старшему. В последующих поколениях оно начисто исчезло — все стали держаться друг с другом на короткой ноге (фамильярничать друг с другом), а это свидетельствует об утрате истинного чувства. Разница в возрасте между нами была небольшая. Но разница и в два или три класса — достаточная дистанция... Поскольку мы были расположены друг к другу. Все так или иначе знали, как нелегка эта жизнь... Впрочем «дети» разных министров, академиков, партработников и тогда разъезжали в машинах... Зато Галактион ходил пешком... Атмосфера была иная, и довольно долгое время я был охвачен предчувствием новых ощущений и нового дыхания.

Потом в памяти моей всплывало разное...

Постепенно я увидел книгу в целом: как во времени существует миг, «более короткий, чем взмах ресниц», который бесследно бы растворился, не «держи» его время, так и жизнь живет в человеке и, не удерживай он ее, жизнь тоже исчезла бы бесследно, но человек — это мудрость, бытие...

Художественную литературу потому и называют художественной, что словами написанный образ можно увидеть и прочувствовать.

Главная ценность писательского труда: он рисует то, что хочет сказать! Это не «рассказанная история», но мир, построенный на чувствах, мыслях и словах-образах... Выявление личности — завязка. Борьба с внутренней «мате-

рией» и борьба с внешней «действительностью»; агрессивная материя этой «действительности» постепенно трансформируется во внутреннюю агрессивность. И становится причиной той внутренней агрессивности, которая убивает чистую и стиснутую этой агрессивной материей душу — личностную ткань. — убивает и героя. Картина этой борьбы написана превосходно! Видно, что внешняя «действительность» не настоящая и поэтому так агрессивна. Настоящая действительность — внутри. Но агрессивность ненастоящей представляет для нее опасность, и поэтому ей суждено либо преобразование и, следовательно, победа, либо же смерть и, следовательно, поражение. Атрибуты этой борьбы — разрушительного характера, но не сами по себе, а именно по причине агрессивности и разрушительности самой реальности! Но реальность — неосознанное поле подсознательно просачивающегося настроения, которое уничтожает природу личности. Это напоминание о «хемингуэвской» манере киновидения, с которой пробуждалась энергия и формировались литературные взгляды моего поколения, вызывает во мне удивительно романтическое чувство. И каким мастерским было это усвоение и заимствование — как близки были эти юношеские чувства и как истинны, ибо это было не усвоение уже готового «метода» или увиденного и пережитого другими, но выбор собственного жизненного пути: и была охота, походы в горы, уединение на целые месяцы... Наша благословенная молодость! И тот неповторимый аромат пятидесятых годов... Наша внутренняя жизнь не была сплошным черным пятном в этой опустившейся ночи; потом уже она запестрела снаружи, раздалась, разжирела... на душу опустился мрак, все упростилось. Наполнилось эрзацами. Но личность, сложившаяся в начатой тогда охоте, осталась неизменной: и это наша судьба, благословенная судьба.

Охота, как внутренняя сущность: охота на обнаруженного в тебе зверя, которого объективируешь, отражаешь собой! Это великолепное видение! Вспоминается: я как-то спросил у дона Рикардо — профессионального охотника-аргентинца, бывшего с нами на Байкале, — был ли Хемингуэй великим охотником. «Он был самым великим охотником среди писателей и самым великим писателем среди охотников». Был 1965 год. Я сказал: «Охота, верно, эпизод в его жизни, но не дорога». «Это так», — коротко ответил дон Рикардо. Сам он был известным адвокатом в Буэнос-Айресе, кто его осудит...

Охота — это и приближение к самому себе, преодоление агрессивности, дикости и завязывание нежной личностной тка-

ни в узлы мужественности: поэтому охота — такой мужественный акт! Невольно вспоминается удивительный дон Хуан Карлоса Кастанеды — жрец индейского племени яки: «Идея смерти — единственная, укрепляющая наш дух», и еще: «Как только человек научится видеть, он окажется на земле в одиночестве», и еще: «Наш удел как людей в том, чтобы учиться во имя добра или зла... Человек знающий живет действием, а не мыслями с действием и о том, что он сделает после того, как кончит действовать...» Человек знаний и действия может лишь совершить прыжок. Прыжок охотника, волею судьбы оказавшегося на скале, — предел, за которым личность становится мужчиной... Так утверждалось в грузинских мифах. К «мифу» сейчас подходят как к чьей-то истории и пользуются им как разгуливающими по Парижу туристы — проститутками, демонстрирующими себя на Сен-Дени. Миф же там, в «Чон Таше», ибо миф это не чья-то история, а само бытие. Бытие охотника! Увидит ли кто заложенную в эти «простые» рассказы настоящую энергию — мифологическую? Мифовидение и мифопоэтику? Присущие только Важе Гигашвили? Посмотрим: может быть, когда-нибудь и попадет мне в руки «критика»... Все остальное, сопутствующее основным узлам, — рассказы-нити, из которых соткана удивительно прозрачная, но прочная, пластичная форма: пестрый ковер существующего здесь и в данный момент бытия. Диалог его с личностью «героя» придает всей ткани то глубинное измерение, которое с плоскости «повествования» воспринимается зримым пространством. Это создает новый вселенский масштаб — такой простой, такой настоящий и потому такой глубокий. Превосходный настрой. Мастерски растворенный в чувственном пространстве.

Чередование точек зрения — так же просто и естественно освоенных — «объективная», «внутри смотрящая» («дневная» и «ночная» или же солнечная и лунная!); первое лицо — второе лицо — третье лицо использованы так просто, с такой изнутри идущей естественностью, что не возникает и тени сомнения — все они принадлежат автору. Все идет из природы охотника (а сколько сейчас в литературе подобных легко найденных «средств», и достаточно одного взгляда, чтобы понять — писатель взял его, но понятия не имеет, как и где использовать... Что сказать с его помощью, поскольку средство само говорит за себя и средство другого автора выражает именно его мысль... Воистину, «чужой кусок в рот нейдет»).

Агрессивная реальность убивает Ладо (наше поколение не раз испытало ее жестокие удары — всех не перечести!), но это не есть бесследное исчезновение из жизни — это преобразование, которое претерпевает мужественная и состоявшаяся личность чонташского охотника: вернее, это смерть личности. Но смерть бессильна перед мужественным человеком. Она может лишь взять на себя миссию выковать его мужество, что и делает: «Дорогая смерть, жизнь прекрасна благодаря тебе...» Смерть убивает лишь тех, кто не жил настоящей жизнью, кто не открыл в себе внутреннего охотничьего пространства; кто ни разу не охотился с «Амирани и его братьями», кто не охотился на себя самого наедине с собой... На этой уединенной охоте происходит преодоление любого «нельзя», неисполнение любого приказа, нарушение любой тишины и уничтожение любого шума. Это настоящая борьба со злом, которое вокруг, которое шумит. «Время и миг» — это поединок тишины и шума и в то же время — время и миг (недаром шумеры считали шум причиной посланного богами потопа, ибо шум — это разрыв связи! Шум убивает личность, уничтожает ее — вместе с ладаном, божественным огнем: богам — и тому, единственному Отцу нашему — желанна личность, человек, его они делают своим сыном, а не массы, организованные массы! Тем хуже для нас, если эти массы «грузины»). Настоящая реальность шумит теснящим сердце сумеречным безлюдием и омрачает душу так, что свет вызывает боль и раздражение. И тогда в этой темноте происходит охота на окружение, охотящееся на личность: в этой ночи храбрый охотник избирает свой путь. Это — путь одиночества. Путь бдительности, так как охотник обязан быть бдительным, ибо охотится в одиночестве. И рискует погибнуть так же, как и «определенный» им зверь в природе (ведь «природа» человека в то же время и социальна) и в нем самом.

Здесь, в этой охоте, соприкасаешься с сущностью бытия и чувствуешь его пульс. Экзистенциальная глубина бытия больше не «айсберг» (и Хемингуэй давно уже пройден вместе с юностью), она открыта в своей чарующей непосредственности. И с этой непосредственностью на наших глазах происходит преобразование человека в личность. Становление его мужчиной. Чего сейчас так не хватает Грузии...

«Погрешности» в расчет не идут. А критики пусть стригут своими острыми ножницами «цитаты»...

Журнал «Иверия», Париж, 1990.



Акакий ХИНТИБИДЗЕ

В маске и без нее

Я снимаю маску!
Подайте коня!

Галактион

Стих Галактиона Табидзе одно из тех чудес, которые гений грузинского народа создал на протяжении своей долгой истории. Чудо поражает, а перенос галактионовского стиха на понятийный язык — творческий процесс того же ранга, что и его поэзия.

Остановимся на одной стилистической особенности поэзии Галактиона, которую можно назвать искусством сокрытия явлений.

С началом стихотворной реформы 1915 года, которая евязана с именем Галактиона, поэт неожиданно отходит от эмпирической действительности, становится над ней и вместо прямого называния предметов и явлений овладевает высшим искусством переноса их свойств. «Мне изменили старые созвучья» — это неожиданное восклицание явилось сигналом перехода к новой поэтике.

«Был ветер прошлой ночью» — так начинается стихотворение, датированное 1914 годом, а первая строка другого на ту же тему, но написанного в следующем 1915 году, звучит следующим образом: «Какую грустную сказку рассказывает ветер»*. В первом стихотворении — обычное повествование, во втором же — метафора.

«Вдали за бирюзовым пространством горели свечи» — читаем мы в созданном до 1915 года стихотворении под назва-

* Где не указан переводчик, перевод подстрочный.

нием «Свечи», а в написанном уже в 1915 году стихотворении «Свеча» есть такие строки: «И я несу, от ветра заслонив, твою свечу — твою живую душу» (пер. И. Дадашидзе). Первые свечи — это реальные свечи, к которым спешит находящийся в море моряк, вторая же свеча абсолютно лишена реального содержания, под ней подразумевается человеческая душа — чистая и яркая, как свеча.

Стремление придать явлению таинственность становится очевидным, если присмотреться к первоначальным и конечным вариантам созданных в этот период стихотворений: «Год склонившегося тополя» — «Год надломленных снов»; или же строки: «наполнены голубизной воздушные литые чаши» — «наполнены июльским льдом... чаши» (пер. В. Леоновича; оба примера взяты из стихотворения «Тополи в снегу»). Склонившийся тополь и голубизна воздуха — реальное восприятие явлений, в то время как выражения «год надломленных снов» и «июльский лед» выходят за рамки реальности.

«Многие поэты довольствуются тем, — читаем мы в записках Галактиона, — что привносят в стихи свет, цвет и музыку, но очень редко проливают в них капли тайны, столь щедро разлитой в стихах Бараташвили».

Стилистический прием придания предметам и явлениям таинственности, благодаря которому поэт создал не один лирический шедевр, говоря откровенно, очень помог Галактиону — в условиях тяжелого диктаторского режима он сумел с его помощью заявить о своей позиции поэта и гражданина по отношению к важнейшим историческим явлениям.

В первые же годы советизации Грузии Галактион создает цикл эфемер, в которых слышится стон потерявшей свободу страны:

Сошлись замшелые громады
Доносит ветер чей-то стон...
«Не Амиран ли, Бога ради?»
И эхом отвечают пади:
«Не умирал он! Это — он!»
Куда я эту боль припрячу?
Уже немил мне белый свет...
«Все ли потеряно?» — я плачу.
И лес, как будто наудачу:
«По-те-ря-но!» — гудит в ответ.

(«Родная эфемера». 1923 г.,
пер. Г. Маргвелашвили)

Примечательно, что в первом томе восьмитомника, вышедшего в 1937 году, поэт датировал все свои эфемеры более ранними годами. Метафора вышеназванного стихотворения «родные не узнать деревья», услышанная читателем впервые в 1923 году, была столь прозрачна, что в 1937 году автору бы ее не простили. В том же стихотворении — строка: «...ужас низвергался из Дарьяла» и в этот же период написано: «... пуля пронзила его сгоряча. Раненный в битве последней, Так и запомнится он — алыча, Тонкая, светлая, словно свеча, — Снова малыш семилетний» (стих. «Алычснок — семилетний ребенок», пер. Ив. Квачахия). Тогда же создано стихотворение «Оделась в траурный атлас» и появился образ «кровавого ангела». И это так запрятано в глубь стихотворений, так покрыто тайной, что хотя умному все понятно, «придаться» к поэту было невозможно.

При возможности, естественно, он снимал маску. В период усиления атеистической пропаганды поэт не сумел скрыть своей душевной боли: «Как мы выживем без Богоматери, как мы вынесем отсутствие мадонны?», однако, публикуя стихотворение, убрал начальную строку — «Душа несчастная устала», заменив ее строкой «Тщета на свете без сражений», и вынес ее в заголовок.

В 1924 году на пятый номер журнала «Мнатоби» с поэмой Галактиона «Воспоминания о днях, когда сверкнула молния» был наложен запрет. Со свойственным ему сокрытием истинного смысла Галактион рисует кровавый старт революции, но в некоторых строках проглядывает неприкрытый образ: «...республика явилась с кровью, террором...», и номер журнала запретили.

В 1927 году было напечатано исполненное тайны стихотворение «Пир на берегу Каспия». Текстологи связали его с убийством в 1922 году пришедшего из Ленкорани тигра и датировали тем же годом. Но, если стихотворение написано в 1922 году, почему автор не опубликовал его до 1927 года? Все дело в том, что Галактион никогда прямо не реагировал на эмпирические явления. Возможно, этот факт послужил каким-то поводом к тому, чтобы в скрытой форме сказать нечто более существенное и значительное. Стихотворение, должно быть, написано в 1925 году. Его строки «...Гор окровавлены склоны, Хищник с подоблачной выси С злобой, в груди за таенной, Глазом косит на Тбилиси» (пер. Г. Цагарели) — своеобразное изображение восстания 1924 года, когда вооруженные кахетинские отряды под предводительством Какуцы Чо-

локашвили двинулись на штурм Тбилиси. Тигр — метафорический образ героя восстания Какуцы Чолокашвили.

В одном из стихотворений Галактиона мелькает и образ генерала Мазниашвили — борца за независимость Грузии. Правда, это осталось в рукописи, но выражение — «как в пулю всаживают пулю» — должно быть, связано с именем Мазниашвили.

Одиссее 1937 года посвящены два стихотворения Галактиона — «Последний поезд» и «Свидетель погрома и насилия», ставшие известными после смерти поэта. Зная, что стихи на эту тему в то время не могли быть опубликованы, он тем не менее придал им переносный смысл. Вместе с тем, один из автографов стихотворения, где есть такие строки: «...сумрак мерзкой железнодорожной станции... посылает куда-то вагоны-гробы...» датирован 1924 годом и вызывает ассоциацию с теми вагонами на станции Шорапани, куда во время восстания 1924 года согнали избранное имеретинское дворянство и безжалостно расстреляли.

Но Галактион и в тот период (1940 г.) публикует стихотворение, отражающее картину репрессий 1937 года, но зашифрованное так, что никто ни о чем не догадался. Оно называется «Из дому вышла и не возвратилась». В нем говорится, что «луч* заходящего солнца преломился у окна, из дому вышел и не возвратился». Только и всего. Но в 1955 году, когда стало возможным говорить о былых ранах, поэт вернулся к ранее написанному стихотворению и расшифровал закодированные строки: «..Смех, Взрывчатый и звонкий каждый раз, И слезы, И сиянье этих глаз, И радостный, И нежный их рассказ — Из дому вышли и не возвратились» (пер. Б. Резникова). В этих строках мы сразу же узнаем Оли Окуджава, жену поэта. В стихотворении рефреном проходит строка «из дому вышла и не возвратилась», которой поэт с самого начала хотел сказать об аресте и ссылке Оли Окуджава.

Стихотворение Галактиона «Почему я при виде покрытой росой лозы», опубликованное в 1957 году, читатели сразу же восприняли как отголосок событий, происшедших 9 марта 1956 года в Тбилиси. Приглядимся к строкам: «слез пролитых по молодежи», «грехов, совершенных по причине молодости», «здесь гремела волна из-за молодежи», «та весна исчезла» и др. Впрочем, автограф стихотворения помечен

* В грузинском языке нет грамматической категории рода. (Ред.).

26—27 сентября 1950 года (даже место написания указано). Ясно, это обычная для поэта манера переносить дату своих стихотворений, что было вызвано политической ситуацией.

То, что это стихотворение не просто воспоминание о молодых годах, но и отражение трагической ошибки нашей молодежи, совершенной в 1956 году, доказывает и надпись на автографе «всех пробрала дрожь, когда я прочел».

Вспомним еще одну приписку, на этот раз на пригласительном билете: «Сегодня заседание, завтра заседание, бесконечные заседания, заседания, это уже заседание». Приписка датирована 9 марта 1956 года.

Таким образом, используя скрытую форму, кодированные образы, стилистическое средство символизации, Галактион смог откликнуться на все кровавые даты грузинской новейшей истории.

«Родные не узнать деревья» — этой строкой встретил поэт начало тирании в Грузии и простился со своей страной так: «...Что может быть обиднее того, Метехи и Дигомское поле, как идти и думать: это не Грузия» (стихотворение из записной книжки, датированной 1956 годом).

...И как писал Григол Орбелиани в конце своей жизни «Я постарел, не повезло мне. повержена моя отчизна», как прощался со своей страной утративший надежды постаревший Акакий: «Я ухожу, и ты уходишь, прощаюсь, Грузия, с тобой», так и Галактион ушел из этой жизни с горькой мыслью о том, что Грузия уже не та Грузия.

Известно, Галактион не был поэтом, отражающим повседневность, «горном окружающего мира», он предпочитал отстраненность от явлений, «лирические отступления» («я прильнул к струнам лирического отступления»). Однако, несомненно и то, что в моменты испытаний, в маске или без нее, поэт был вместе со своим народом, разделяя его горести и беды, что еще раз подтверждает известную истину: ни один великий художник не сможет оставаться «вне времени, эпохи и пространства».



РАСКАЯНИЕ АПШИНЫ

Существуют различные мнения о мировоззрении Важа Пшавела. Это вызвано в первую очередь его своеобразным восприятием природы и словесным выражением этого восприятия. Возникло несколько точек зрения относительно пантеизма, язычества, антропоморфизма поэта и т. д. По мысли Гр. Кикнадзе, корень ошибок критиков в том, что они отождествляли форму поэтической речи Важа Пшавела с его мировоззрением.

Наша цель показать, что у поэта христианская основа. Отец его — Павле Разикашвили сперва был дьяконом, затем — священником. Его проповеди, проповеди православного священника, вступали в противоречие с миропониманием хевисбери¹. В своем автобиографическом труде «Моя жизнь» Важа Пшавела подчеркивает это противоречие. Отец в детстве часто рассказывал ему истории из книг Ветхого завета — о битве Давида с Голиафом, подвигах Самсона, самопожертвовании братьев Маккавеев и др. Маленький Важа настолько сроднился с этими рассказами, вжился в них, что представлял себя Самсоном. Воспитанный на христианской морали, он одно время мечтал стать монахом, но домашние не поддержали его. Как отмечал сам поэт, именно увиденное и воспринятое в детстве легло в основу его творчества.

В творчестве Важа Пшавела ощущается и сильное влияние грузинского фольклора и обычаев горских народов. Материалом для своих художественных произведений он, по нашему мнению, использовал народное творчество. Превратив «в плод собственного ума и чувств», он затем отражал его на бумаге. Религиозные ритуалы, обычаи и нравы народа, описанные в произведениях Важа Пшавела, имеют скорее эстетическое и этнографическое значение, нежели мировоззренческое.

Возможно, поэт не был религиозным человеком, мы не можем сегодня утверждать это, но нельзя сказать, что его раз-

¹ Хевисбери — старейшина у горских племен.

мышления далеки от христианского мировоззрения. Напротив в своих статьях и художественных произведениях он развивает истинно христианские положения. Это прежде всего касается статей, в которых влияние на горские народы хевисбери и прорицателей-проповедников Важа Пшавела расценивается как отрицательное и разъясняет причины распространения христианства в этом регионе.

Добро, по мнению поэта, определяется не достижением личной выгоды, главное — принести пользу другому, помочь ему: «Если каждый из нас будет стремиться защитить, помочь другому, тот, другой, будет нам в помощь, будет желать нам добра, — это та же помощь самому себе, хотя и по-иному, другим образом, выраженная божественно, более человечно, ибо подобное отношение между людьми уничтожает зависть и вражду».

Важа Пшавела считал, что жизнь на земле — испытание для человека. Его судьба в другой, вечной жизни зависит от него самого: «Рай — для тех, кто творит великое добро, настоящее — на этом свете, будущее же — на том. Сохранить свою душу можно лишь на этом свете. Будущее за тем, кто целенаправленно служит настоящему».

По мнению Важа Пшавела, несчастье народа — следствие греха, совершаемого отдельными личностями, развитие цивилизации не способствует нравственному развитию человека.

Пост — это не только запрет на еду, считает поэт. Человек должен быть чист и душой. «Пост — синоним раскаяния и терпения». Человек должен выдерживать и физический пост, ибо «сытый и довольный он не помнит о Боге». Раскаяние самое верное средство приближения человека к Богу. «Не забывайте о Боге, молитесь ему! — призывал Важа. — Раскайтесь в ошибках, которые помешали вам, и постарайтесь не совершать их впредь». Он отвергает тщеславие, призывает к единению. По его мысли, «смешать благо с грехом, значит уничтожить его».

Позиция Важа Пшавела четко проявляется в стихотворениях на тему Христа. Жизнь Иисуса Назаретянина для него не только историческое прошлое, но актуальное настоящее и бесконечное будущее. Стихотворения свидетельствуют о глубоко знании поэтом Евангелия, его истинном восприятии. Часто он использует для сравнения библейские образы. Цветущая страна всегда напоминает ему рай, Рождество Христово он связывает с возрождением отечества, несчастье — с потопом, грех — с Иудой, снег — с манной небесной и т. д.

По своему мировоззрению Важа Пшавела наследник Ильи. Он противник междоусобных войн, противостояния сословий. Дворяне и крестьяне, по его мнению, — братья. Их единение должно осуществляться мирным путем — через просвещение и дружбу.

Важа Пшавела противник революционных ситуаций, беспорядков в стране, партийной борьбы и амбициозных принципов. Он отвергает революционную агитацию, ибо народ еще невежествен, и это может привести к анархии. Поэт от имени народа требует «одного определенного учения для страны, общества, понятного настолько, чтобы никакая критика не могла придраться к нему, и выгодного для большинства народа». Можно предположить, что такое неподвластное критике общественное учение для грузина — Евангелие — спасение мира через личную нравственность. Важа Пшавела в первую очередь поэт, проповедующий дружбу и любовь между братьями. Ни в одном из его произведений нет жалоб на сословное неравноправие. Сам нуждавшийся, стесненный в средствах он сумел преодолеть искушения, вызываемые материальными затруднениями, стать выше собственных потребностей.

Наша цель показать, что исходной точкой темы, сюжета или художественных образов некоторых произведений Важа Пшавела является Библия. С христианской точки зрения, на земле не существует безгрешного человека, но одним уготовано царство небесное, другим нет. Даже совершившего самый тяжкий грех может ждать царство небесное. Вспомним, Иисус Христос явился, чтобы спасти грешников, ибо «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Евангелие от Матфея 9, 12). В царство небесное может попасть лишь раскаявшийся. «Раскаяние — осознание собственных грехов, очищение от них возможно лишь благодаря милосердию Бога» (Св. Симеон, новый Богослов о раскаянии и молитве, «Слово истинной веры»).

Огромное значение придает христианство вступлению на путь раскаяния. Вспомним проповедь Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Евангелие от Матфея 3, 2). Царство небесное, смысл и цель жизни каждого верующего христианина, можно обрести лишь путем раскаяния. На первый взгляд все религии похожи друг на друга. Каждая из них признает создание вселенной сверхъестественной силой, бессмертие души и в связи с этим два мира: наш и потусторонний. Порой мир осмысливается на трех уровнях: небесном, среднем (или земном) и преисподней: загроб-

ная жизнь — продолжение земной жизни. Отсюда ^{человече-}ская жизнь — своего рода испытание, от человека ^{самого за-}висит его счастье в той, другой жизни. Разные религии ^{уста-}навливают различные нормы этого испытания. Но главное у всех одно — верность Богу, любовь и обязанность перед ним. А вот обязанности и определяют основное различие между религиями. Раскаяние именно то чувство, которым христианство отличается от всех других религий. Это чувство, которое требует от человека нравственного совершенства и затрагивает даже нюансы движения его души.

Мотив раскаяния занимает видное место в творчестве Важа Пшавела. Он в основном выражается слезами. Не случайно первый сборник поэта называется «Слезы». Это те слезы, благодаря которым человек способен заглянуть в собственную душу, увидеть свои грехи, они смягчают огрубевшее сердце и напоминают о смирении. Раскаявшегося человека не оставит и Господь, и таким образом, происходит сближение человека с Богом.

Мотив христианского раскаяния, по нашему мнению, главный в поэме «Гоготур и Апшина». В основе ее, как и многих других произведений Важа Пшавела, лежит народное сказание о жившем в XIX веке «очень сильном и трудолюбивом человеке» по имени Гоготур. Образ Апшины полностью является результатом художественного вымысла поэта. В своей статье «Раздумья о «Витязе в тигровой шкуре» он пишет: «Эту поэму помог мне написать собственный опыт — я вообразил себя Гоготуром». И Важа Пшавела рассказывает распространенную в народе историю о том, как Гоготур скормил двум ворам-хевсурам собачью похлебку. О собственном опыте он умалчивает. Можно предположить два варианта: либо с писателем случилась та же история, что и с Гоготуром, что менее вероятно, либо же этот инцидент имел отношение к его душевному состоянию — в душе он считал себя Гоготуром, сознание же в определенных случаях было апшиновским. Разумеется, под этим следует понимать не физические действия Апшины. Речь идет о минимальных бытовых потребностях Важа Пшавела как человека. Как поэт он старался освободиться от них. Его целью было хранить себя в чистоте, быть божественным человеком, стоящим над прозой жизни.

Наше соображение подтверждают и следующие строки Важа Пшавела: «Какое личное переживание, какой случай подтолкнул меня к созданию «Гоготура и Апшины», или когс

я подразумеваю под Гоготуром, а кого под Апшиной — это моя тайна, и я унесу ее с собой в могилу, раскрывать ее нет надобности, поскольку это ничего не прибавит поэме, а умолчание ничего не убавит. К поэмам, которые своим содержанием мало чем отличаются от народного предания и должным образом не переработаны, можно отнести «Сулакурдгела», «Иванэ Которашвили», и по этой причине они весьма слабы». Следовательно, «Гоготура и Апшину» Важа Пшавела считает «переработанной» поэмой, в которой следует видеть иную глубину, нежели ту, которая характеризует народное предание.

Важа Пшавела хорошо знает, что преодолеть в себе апшиновское начало, т. е. отказаться от земных удовольствий весьма трудно.

Скажите, разве может
лиса разлюбить куриное мясо?

Лишь истинное раскаяние может помочь преодолеть в себе «апшину», именно такое раскаяние испытывает поэт, дабы подняться над минимальными потребностями своего нелегкого существования и остаться свободным, остаться личностью, исполненной чистых поэтических устремлений — божественным человеком. Такой образ мышления характерен для христианина: он знает, как бы правильно он ни строил свою жизнь, на нем все равно останется «какая-то печать его «я». У истинного верующего достаточно смирения, чтобы заметить на себе эту печать, как бы мала она ни была, и встать на путь раскаяния. Именно такое душевное смирение и христианский образ мышления, на наш взгляд, и подвигли Важа Пшавела на создание поэмы «Гоготур и Апшина». «Собственный опыт» также должен указывать на внутреннюю борьбу. И еще одно трудно передать неиспытанное чувство. В статье «О «Витязе в тигровой шкуре» поэт отмечает: «Кто не испытал ни ненависти, ни любви, не пережил их лично, не может быть певцом этих чувств, он не сможет описать их так, чтобы покорить читателя и заставить его воскликнуть: «Как это прекрасно!»

Художественная и духовная глубина поэмы «Гоготур и Апшина» не вызывает сомнения. Важа Пшавела так убежден, что писатель должен выражать собственные чувства, что и с Руставели говорит то же: «В Тариэле он изобразил самого себя, либо свое состояние отождествляет с состоянием Тариэла». Исследуя поэмы Важа Пшавела, как видно, нужно руководствоваться этим его замечанием.

Апшина — главный герой поэмы «Гоготур и Апшина».

Даже идеальный образ личности Гоготура служит для выражения внутренней природы Апшины, что, разумеется, не означает второстепенности его художественного образа.

Апшина — хевсур из села Бло, из «рода Миндодаури», храбрый воин, использующий, однако, свою силу для угнетения других людей:

Он грабит недруга и друга,
И, словно ханская казна,
Его разбойничья лачуга
Добром захваченным полна¹.

Действия Апшины далеки от идеала. В основе их лежит бытовая ориентация: стяжательство, жадность. Человек же тем и отличается от других живых существ, что может пойти против своего желания. Согласно христианскому учению, если человека одолевают соблазны и он не может совладать со своими страстями и потребностями, то, стало быть, он одержим дьяволом, который с помощью своего обаяния пытается убить в нем божественное начало. Поступки Апшины с точки зрения христианской морали, поступки человека, одержимого дьяволом. Апшине в поэме противостоит Гоготур, идеальная личность, в отличие от Апшины — божественный человек.

Должно быть, служат удалому
Святые ангелы в бою, —

говорится о нем в поэме. Гоготур — олицетворение истины. Физически он гораздо сильнее Апшины.

Сильней Апшины Гоготур,
Чуть только двинет он рукою —
На землю падает хевсур.

Но в отличие от Апшины, Гоготур использует свою силу в борьбе с врагами родины:

Толпу врагов перед собою
В смятеньи гонит этот пшав.

В мирной жизни Гоготур либо пашет, либо охотится. По его глубокому убеждению, «разбойничая и грабя, трудно оставаться человеком!». По вечерам Гоготур присаживается к очагу и закуривает трубку.

¹ Здесь и далее стихи даются в переводе Н. Заболоцкого.

Пандури снимет с косяка,
Зальется песней удалою,
Да так, что вздрогнет потолок,
А коль притопнет вдруг ногою —
Земля уходит из-под ног.

Своей физической мощью и простодушием Гоготур напоминает библейского Самсона.

Из второй главы поэмы, передающей диалог Гоготура с его женой, мы узнаем, что дьявол соблазняет любого человека, но не каждый поддается соблазну. Такой стойкой личностью является Гоготур. Жизненная ориентация его жены, основывающаяся на угнетении слабых и беззащитных, неприемлема для него. Эта глава напоминает, как Мзия искушала Миндию, с той разницей, что в «Змеееде» в образе слабых и беззащитных выступают растения и животные, а в «Гоготуре и Апшине» — народ. Миндиа поддается искушению, Гоготур же непоколебим. Он насмешливо соглашается с женой:

«...Поеду я на мир взглянуть.
Быть может, и твои желанья
Исполню я когда-нибудь!»
И усмехнувшись на прощанье,
Пустился витязь в дальний путь.

Третья глава поэмы открывается чудесной панорамой природы:

Была весна. Цвели фиалки.
Надев весенний свой убор,
Цветами покрывались балки
И зеленели склоны гор.
Последний стаял снег в лощинах...

В природе все цветет, вольно дышит. Природа подает человеку пример того, как освободить стесненную грехами душу, как облегчить ее и очистившемуся и открытому слиться с матерью-природой, т. е. приобщиться к Богу. Красота весны должна пробудить весну и в душе человека. «Душа, в первую очередь, должна быть счастлива. Она, как по весне природа, должна цвести, зеленеть, животворить, созидать, быть молодой и вместе с тем несомненно свободной, как природа весной». Душа Апшины мрачна, лишена свободы, ибо скована ложными бытовыми страстями; душа Гоготура вольна и жива. Один «неистовый, как гора», «грозный», второй же, рас-

певающий во все горло, скачет на коне. Мрачный Апшина догоняя Гоготура, «грубо матерится» и требует бросить оружие:

Сдавай оружие, пшав несчастный,
Оно бродяге не к лицу!
Ну, что глядишь, беды не чуя?
Зовут Апшиною меня!

— этими словами Важа Пшавела подчеркивает прямоту Апшины, то положительное свойство его природы, которое говорит, что Апшина не обречен, что-то мужское еще сохранилось в нем.

Поведение Апшины заставляет Гоготура задуматься. В душе он лекарь, «покровительство ангелов» не дает ему права думать лишь о себе, он должен заботиться обо всем народе. Так понимает Важа Пшавела избранничество Божье. Гоготур знает, прямое столкновение с Апшиной не поможет последнему. Напротив, еще более ожесточит его, поэтому Гоготур старается образумить его добрым словом:

Да что ты, братец? Да за что же? —
Сказал он вслух — Ведь я не пес!
Я человек, как ты, и тоже
Я не в навозной куче рос.
Коль и взаправду ты Апшина,
Побойся Бога, удалец!
Ведь без меча я не мужчина,
Ведь без оружия мне конец.

Гоготур не стесняется и просит его «Коль избавишь от расправы, навеки раб я буду твой!» Но ни доброе слово, ни просьба не действуют на Апшину. Тогда Гоготур снимает свое оружие, отдает его Апшине и приближается к нему, чтобы, если тот вздумает уехать, задержать его, попытаться другим, пусть даже крайним способом навести его на ум. И действительно, когда Апшина пришпорил коня, у Гоготура лопнуло терпение, «и он сорвал с седла хевсура, избил его и бросил в грязь», безоружный Гоготур «полностью обезоружил» «нагруженного оружием Апшину». Затем связал его и бросил на дороге. Гоготур пытается показать Апшине, что тот обычно делал с другими людьми.

Ты не хотел послушать пшава,
Тебе злодейство нипочем,

За это я имею право
Теперь владеть твоим мечом.
Твой конь мне также пригодится,
Не откажусь и от коня,
Ему ль служить у нечестивца?
Пусть лучше служит у меня.

— обращается Гоготур к Апшине.

Апшина сожалеет о своем поступке, но раскаяние это вызвано не осознанием преступности его морали. Апшина раскаивается в том, что не узнал Гоготура, принял его за бродягу и поэтому остался в дураках: «...Весь почернев, лежит Апшина, Горит от злобы и стыда».

Гоготур догадывается об односторонности раскаяния Апшины и поэтому продолжает внушение:

Ага, теперь ты стал умнее,
Теперь-то ты увидел сам,
Куда ведут твои затеи
И каково сносить их нам!
Что может быть на свете хуже,
Чем потерять свой добрый меч?
Коль отдал муж свое оружие,
Ему осталось в землю лечь!
Забыл ты Господа, Апшина!
Мы оба в Грузии живем.
Так как же смеешь ты, детина,
Обезоруживать грузина,
Когда враги кишат кругом?

Гоготур хочет показать Апшине, какой опасности он подвергает других, ни во что не ставя их жизни. В такое же положение может попасть и он сам, что, кстати, и случилось. Бог дал ему силу для того, чтобы он служил своей родине. Апшина задумывается, но это не значит, что слова Гоготура образумили его. Гоготур не поступит, как Апшина. Напротив, он должен показать ему пример, чтоб тот сумел обрести потерянную человечность. И Гоготур возвращает Апшине оружие:

Нет, мне не впрок твое оружие,
Ходившее кривым путем, —
У Гоготура меч не хуже,
Кинжалов, ружей полон дом.

Затем он развязывает руки противнику и поднимает его с земли, как равный равного. Миссия Гоготура ^{выполнена}. Он, как «лекарь души», сумел пробудить в Апшине ^{человечность}.

И встал Апшина, полон муки...

Апшина унижен, сломлен, а слезы выражают безграничное раскаяние в том, что он делал до этого дня:

Давай друг друга мы обнимем,
Я полюбил тебя, поверь!

— говорит он Гоготуру. Благо, надо полагать, не в том, что Гоготур пощадил Апшину, а в том, что он раскрыл ему глаза, приобщил к истине.

В следующей главе мы узнаем, что Апшина безвозмездно отдал свое оружие и коня первому встречному. Для хевсура же это самая большая ценность. «Хевсура нельзя представить без оружия, как и рыбу без воды», — пишет Важа Пшавела. А добрый конь для горца дороже его собственной семьи. Об этом — народный стих:

Я завидую судьбе того, у кого добрый конь,
Он следует впереди всего войска,
а потом уж имеющему добрую жену,
ласково встречающую любимого мужа.

(перевод подстрочный)

Жертву Апшины поэтому мы должны расценивать как вступление на путь раскаяния. После всего этого Апшина заперся в своем доме.

...С постели

Больной Апшина не встает.
Забыв про удаль и веселье,
Вздыхает он и слезы льет.

Апшине необходимо раскаяться в своих грехах, излечить сердечную рану. Это не так легко. Апшина становится верующим человеком и в финале поэмы он уже хевисбери — посредник между народом и богом; он молит икону о благополучии своего народа, покровительстве своей стране. То, что он стал хевисбери, говорит о суровом образе жизни, который стал вести Апшина и о его долге перед народом.

Поэма на первый взгляд заканчивается необычно:

Но есть в народе слух упорный,
Что на краю селенья Бло,

Не раз слышали над рекою
Хватающий за сердце стон:
«Увы, мне, мертвому герою!
Не я ль при жизни погребен?»



Читатель догадывается, что речь идет об Апшине, хотя его имя не упоминается. В конце поэмы раскаяние Апшины становится раскаянием вообще, и это чувство должно пробудиться и в читателе. Здесь же вырисовывается и идея поэмы: истинное раскаяние — длительный, тяжкий и мучительный процесс, но в то же время и великая победа человека над собой, ибо на него снисходит благодать святости.

Таким образом, поэма «Гоготур и Апшина» не о том, что человек, согрешивший раз, должен всю жизнь нести на себе тяжесть греха, но о том, что истинное раскаяние восстанавливает связь человека с Богом.

Логическое течение поэмы приводит нас к мысли, что в ней развивается мотив христианского раскаяния. Апшина не только раскаялся в своих грехах, но стал первым человеком среди культовых служителей — хевисбери, по поверью горцев, посредником между людьми и богом. Однако все дело в том, что Апшина становится не церковным служителем, а служителем языческой религии. Хотя «пшавы официально считаются христианами, в действительности они по-прежнему следуют языческим традициям» (С. Макалатиа, Пшавы, Тб., 1934). В статье этнографического характера «Пшавы» Важа Пшавела пишет: «Православие пшавов это не вера в чистом ее виде, а слияние различных языческих и христианских канон и обычаев... Православное учение не получило здесь распространения и потому, что быстро позабыли о христианских проповедниках и священнослужителях. Причиной тому различные боины, которые выпали на долю Грузии». Наследником священнослужителя в горах стал хевисбери. Молитва хевисбери состоит как из обращения «самого хевисбери и народа», так и из «некогда услышанных в церкви слов священного писания». Слияние христианской религии с народными нравами и обычаями, по мнению Важа Пшавела, вызвано невежеством народа, тем, что в селах нет священников и даже школ. Поэт видит, что народ верит больше хевисбери, нежели священнослужителю. Это происходит в

конце XIX века, и неудивительно, что в более ранние эпохи пшавы и слыхом не слыхивали о священниках. «Гоготур и Апшина» это «старый сказ». Поэтому из того фольклорного материала, который послужил поэту основой для поэмы, Апшина-священник просто-напросто выпадал. Апшина должен был стать служителем той веры, которую исповедовал его народ.

«...Если хочешь быть совершенным, — учил Иисус, — пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мною» (Евангелие от Матфея 19, 21). Апшина сумел разорвать оковы богатства и тщеславия, путем раскаяния и терпения обрести свою душу. Здесь примечательно одно обстоятельство. Когда Важа Пшавела рассуждает о «великом посте», он использует понятие раскаяния как синоним поста и призывает читателя к истинному духовному посту, дабы «...одолеть дьявола и обрести вечную жизнь, дожидаясь воскресения из мертвых и жизни дальнейшей вечной, аминь!» Следовательно, поэт оценивает раскаяние с точки зрения христианской морали.

Рассуждая о художественном произведении, надо учитывать в первую очередь его идейную и художественную стороны и лишь затем фактический материал, легший в его основу. Канва произведения не должна помешать передаче его идеи. В противном случае «Витязь в тигровой шкуре» предстал бы перед нами всего лишь хвалой мусульманскому миру, а Важа Пшавела же считал невозможным, чтобы «такая легенда... возникла на мусульманской почве». В той же мере невозможно считать раскаяние — ведущий мотив поэмы «Гоготур и Апшина» — чувством, возникшим лишь на почве мужественного поступка, и не увидеть той глубины, которая отличает христианское раскаяние.



Главный редактор Роман МНМННОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМЙРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Роваз АСАЕВ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГА-
ГУА, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Лия
СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ, Серги ЧИЛАЯ

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромедзе

Сдано в набор 22.08.92 г. Подписано к печати 18.09.92 г.
Формат бумаги 84x108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать
высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 2.200. Заказ 1671. Цена 2 р.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костая, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43, 93-65-19, 93-13-57.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костая, 14.

2 руб.

6223/78

ИНДЕКС 76117

ქართული
ბიბლიოთეკა

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურული გრუზია“

(ბესულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

—*—